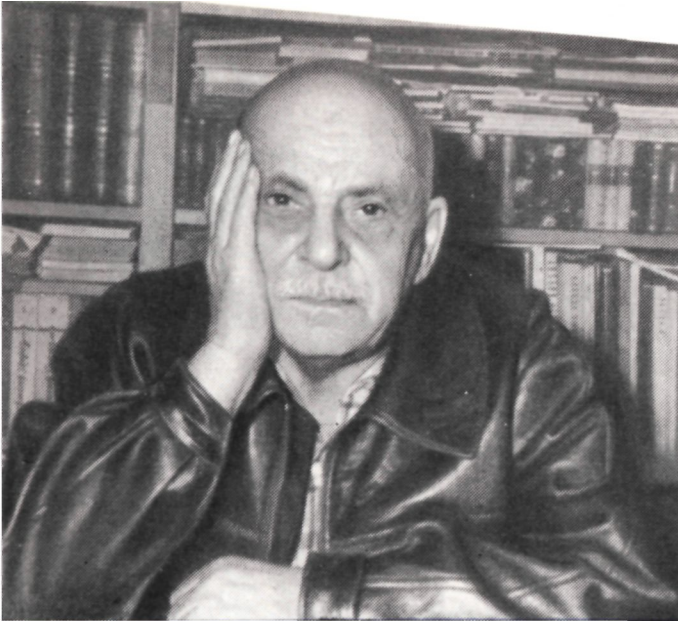


ОТ БЕРАНЖЕ ДО ЭЛЮАРА

СТИХИ ЗАРУБЕЖНЫХ ПОЭТОВ



Выдающийся советский поэт Павел Григорьевич Антокольский родился в 1896 году. Первая его книга, носящая скромное название «Стихи», вышла в 1922 году. Долгое время Антокольский отдавал свои творческие силы не только литературе, но и театру — он был режиссером театра имени Вахтангова.

Творчество Антокольского необычайно разнообразно: в многочисленных сборниках его стихов представлена политическая, философская, любовная и пейзажная лирика, поэмы и драмы. Поэт обладает острым чувством современности и острым чувством истории. Он — автор драматической поэмы «Франсуа Вийон» (вышла в 1934 году), патриотической поэмы «Сын», за которую ему в 1946 году была присуждена Государственная премия.

Россия, Армения, Грузия, Азербайджан, Болгария, Франция, Германия, Швеция, Бельгия, Югославия — таков географический диапазон поэтических интересов Антокольского. Отдельную книгу очерков, оригинальных стихотворений и переводов Антокольский посвятил героическому Вьетнаму («Сила Вьетнама» 1960). В 1965 году поэт выпустил сборник историко-литературных этюдов, посвященных творчеству Пушкина, Лермонтова, Блока, Багрицкого, Луговского, Табидзе, Вургуна, Шекспира, Шиллера, Гюго, Рембо.

Павел Антокольский — один из лучших наших стихотворных переводчиков. Ему обязан русский читатель близким знакомством со стихотворениями и поэмами поэтов народов СССР. Под его пером поновому звучали страстные и гневные строфы Беранже, Гюго, Барбье, Арагона, Элюара. Благодаря переводам Антокольского стихи названных поэтов, а также стихи Бодлера и Рембо стали достоянием русской поэзии, прочно вошли в ее обиход.



М А С Т Е Р А

П О Э Т И Ч Е

**ПОД РЕДАКЦИЕЙ
П. АНТОКОЛЬСКОГО, Е. ВИНОКУРОВА,
М. ЗЕНКЕВИЧА, Н. ЛЮБИМОВА
и Б. СЛУЦКОГО**

ВЫПУСК 6

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ПРОГРЕСС“

С К О Г О П Е Р Е В О Д А

**ОТ БЕРАНЖЕ
ДО ЭЛЮАРА**

**СТИХИ
ФРАНЦУЗСКИХ ПОЭТОВ
В ПЕРЕВОДЕ**

**ПАВЛА
АНТОКОЛЬСКОГО**

М О С К В А 1 9 6 6

АВТОР ПРЕДИСЛОВИЯ И РЕДАКТОР ВЫПУСКА
Н. ЛЮБИМОВ

7-4-4

141-66

ЛЮБИМЕЦ ДЕСЯТОЙ МУЗЫ

Когда Павел Антокольский выступает не как оригинальный поэт, а как поэт-переводчик, то, если чуть-чуть переиначить выражения, которые он употребил в одном из оригинальных своих стихотворений, это для него никак не отдых, а тревога стучащего сердца. Он не подменяет собой переводимых авторов, не вписывает в них себя, но он и в переводе раскрывает свою творческую индивидуальность во всей ее «непохожести».

Непререкаемо верная мысль Достоевского, что только писатель, остро ощущающий родную почву, способен почувствовать и передать своеобычность иных стран, иных земель, — эта мысль находит себе подтверждение и в поэтической деятельности Антокольского.

Уже в первых своих книгах Антокольский обнаружил чувство русской истории, русского быта, русской культуры. «Петр Первый», «Павел Первый», «Петроград 1918 года», «Нева», «Волга», «Кама», «Москва», «Пермь» — вот характерные названия и темы его ранних стихотворений. А дальше — дальше Грузия, Армения, Азербайджан, Руставели, Тициан Табидзе, Нико Пиросманишвили... Еще совсем молодой поэт, он пишет стихи о Гоголе и о Пушкине. Впоследствии тема Пушкина пройдет через все творчество Антокольского; один из его сборников будет назван — «Пушкинский год».

Внимание к национальному своеобразию, к национальному колориту, которое развил в себе еще в пору своей поэтической юности Антокольский, позволило ему уловить и подметить неповторимые черты и в облике тех зарубежных стран, которые он живописал в своих стихах, будь то Вьетнам или Швеция, будь то Германия или старинная

Фландрия. «Синий лес баллад в стрельчатой старине» и «лунный блеск сонат» мгновенно рождают в нашем воображении образ Германии — страны чудотворцев-зодчих, страны властителей словесной и звуковой гармонии. Кажется, нельзя лучше определить гармоничность мироощущения Пушкина, чем это сделал Антокольский в стихотворении «Работа»:

Рухнут мокрыми комьями на черновик
Ликованье и горе, сменяя друг друга.
Он рассудит их спор.

И как нужно видеть историю Западной Европы, чтобы вложить в уста Вийона несколько строф, в которых отчетливо выражено мироощущение человека, стоящего на грани двух миров — Средневековья и Возрождения, чтобы скупыми мазками изобразить время Вийона:

Топоры стучат по срубам.
Меж бойниц растут леса.
Отвечают зычным трубам
Буйных сборищ голоса.
Мореходами отыскан
Рай невиданных земель.
Винным пурпуром обрызган
Мира юношеский хмель.
На таимое доселе
Глаз художника остер.
И кипит, кипит веселье.
И широк земной простор.

«Острый галльский смысл» особенно «внятен» и дорог Антокольскому. Целые циклы стихов посвящены им Парижу былых времен и Парижу наших дней. Антокольский восславил Парижскую коммуны и подвиг тулонских моряков-патриотов, он создал драматические поэмы о великом якобин-

це Робеспьере и о поэте-бунтаре Франсуа Вийоне. Вот почему таким закономерным представляется обращение Антокольского к поэзии Беранже и Гюго, Барбье и Арагона, к ее революционному пафосу.

Антокольский-переводчик разнообразен, но не «всеяден». Ему «насилно мил не будешь». Он переводит родственных, близких ему по духу поэтов, и это одна из главных причин того, что ему сопутствует удача. Его пример — наука иным молодым, а впрочем, и не только молодым переводчикам. Подлинное сродство переводчиков и писателей оригинальных не может не быть избирательным.

Родственность между Антокольским и теми поэтами, которых он воссоздает на русском языке, явственно проступает и в отдельных мотивах. Так, к примеру, мотив преемственности революционных традиций звучит и в оригинальной и в переводной поэзии Антокольского.

Мы первые в мире. За нами, за нами, за нами,
По нашим расстрелянным, брошенным в черные рвы
Горячим телам пронесете вы рваное знамя.
О, кто бы вы ни были, нас не забудете вы!

Это из стихотворения Антокольского «Вандомская колонна», вошедшего в цикл «Коммуна 1871 года».

А вот строки из «Июльских могил» Беранже в переводе Антокольского:

О, лишь бы знать, что подвиги не сгинут!
Где мы блуждали, будет прям ваш путь.

Пристрастие Антокольского к одически-торжественному интонационному строю сослужило ему верную службу в переводах из Виктора Гюго. Не обладай Антокольский яростным поэтическим темпераментом, он не смог бы с такой силой перевести страстные инвективы Барбье («Раздел добычи»):

А вам, молодчикам с большим трехцветным бантом,
Во фраках, с белой грудью, вам,
Затянутым в корсет женоподобным франтам,
Бульварным модникам и львам, —
Как вам спалось, когда, под саблями не тая,
Наперерез ночной стрельбе,
Шла рвань великая, шла голытьба святая
Добыть бессмертие себе?

Любовь Антокольского к озорной сочности и дерзкой свежести просторечия сказалась не только на его переводах из Барбье — она помогла ему вскрыть народную основу языка Бодлера, основу, которую — умышленно или неумышленно — не заметили русские дореволюционные переводчики французского поэта:

Подонки и хлыщи, отбросы крутоверти,
Как вы, мышинные жеребчики, стары!
Вселенская раскачка, свистопляска смерти
Всех потащила вас — айда в тартарары!

Для Антокольского — оригинального поэта — характерно сращение «низкой» и «высокой» лексики. Вот это искусство сплавлять поэтизмы и прозаизмы помогло ему при воспроизведении образной системы Рембо — Рембо с его сочетанием вызывающей грубости и горькой нежности. Вообще переводы из Рембо — это одно из высших достижений Антокольского и одно из высших достижений русского поэтического перевода в целом.

Море грозно рычало, качало и мчало;
Как ребенка, всю зиму трепал меня шторм.
И сменялись полуострова без причала,
Утверждал свою волю солёный простор.

.

Я запомнил свечение течений глубинных,
Пляску молний, сплетенную, как решето,
Вечера — восхитительней стай голубиных,
И такое, чего не запомнил никто.

Я узнал, как в отливах таинственной меди
Меркнет день и расплавленный запад лилов,
Как, подобно развязкам античных трагедий,
Потрясает раскат океанских валов.

Такие стихи не нуждаются в комментариях. Они говорят сами за себя, как всякие прекрасные стихи. Они пленяют, они потрясают. И только очнувшись от потрясения, пристально вглядываясь в каждую строчку, поверяя алгеброй гармонию, разлагая общее впечатление на составные элементы, видишь, как это сделано, как безошибочно выбран волнообразный и стремительный размер, какие внутри него поэт-переводчик образует ритмические переливы, чтобы придать ему еще большую гибкость, чтобы убыстрить его; как послушны поэту-переводчику и цвет и звук, с помощью которых он рисует путешествие «пьяного корабля», какая взрывчатая сила заложена в эпитетах и глаголах.

В первоначальном варианте посвященного Пушкину стихотворения «Работа» у Антокольского есть такая строка:

Только б вырвать из хаоса нужное слово!

Этим завидным умением вырывать из словесного хаоса нужное слово, этим вдохновенным мастерством в равной мере отмечены и оригинальная и переводная поэзия Антокольского, образующие единое органическое целое.

Н. Любимов

Пьер-Жан Беранже

(1780—1857)

Жан-парижанин

Пой и смейся, смейся, пой,
Сдвинув шляпу на затылок,
И кружись по свету, пылок, —
Твой Париж всегда с тобой,
Парижанин, твой Париж с тобой!

В архивах вычитал историк:
Готов ты взяться за тесак,
Когда насчет Парижа спорит
Неуважительный гусак.

Силен в стихах и прозе,
Трубил ты до сих пор, —
Лишь бы, подобно розе,
Сиял святой собор.

Пой и смейся, смейся, пой,
Сдвинув шляпу на затылок,
И кружись по свету, пылок, —
Твой Париж всегда с тобой,
Парижанин, твой Париж с тобой!

Миль за две тысячи к Пекину
Перемахнешь ты в некий чае,

Рога наставишь мандарину
И, долгим странствием кичась,
Горишь мечтой — со вкусом
В каморке у портье
Расписывать зевакам
О дьявольском житье.

Пой и смейся, смейся, пой,
Сдвинув шляпу на затылок,
Колеси по свету, пылок, —
Твой Париж всегда с тобой,
Парижанин, твой Париж с тобой!

— Добыть бы золота — и в Перу
На берег ступишь без гроша.
— Как! Здесь остаться? Прочь химеру!
— Меня сочтут за торгаша.
— Тьфу, золото! Мне ближе
Любовница моя!
— Хоть госпиталь в Париже,
— Хоть койка — да своя!

Пой и смейся, смейся, пой,
Сдвинув шляпу на затылок,
Колеси по свету, пылок, —
Твой Париж всегда с тобой,
Парижанин, твой Париж с тобой!

В различных войнах с равной силой
За полумесяц и за крест
Божись и грабь, бей и насилуй,
И нам пиши из многих мест:

«От Лувра до бульваров
Молва парижских уст —
Среди других товаров
Расхваливай мой бюст!»

Пой и смейся, смейся, пой,
Сдвинув шляпу на затылок,
Колеси по свету, пылок, —
Твой Париж всегда с тобой,
Парижанин, твой Париж с тобой!

Раз меж прелестных персиянок
Тебе шепнули: «Мой король!» —
«Что ж! Но со мною спозаранок
Бежать во Францию изволь!»
Дней восемь длился праздник.
Всем видеть довелось:
Чернь оперную дразнит
Чудак, задравши нос.

Пой и смейся, смейся, пой,
Сдвинув шляпу на затылок,
Колеси по свету, пылок, —
Твой Париж всегда с тобой,
Парижанин, твой Париж с тобой!

Жан-парижанин! Ты зеркало
Для всех зевак, всех парижан.
Чем только слава не бряцала,
Как ни рвался из дому Ж а н , —
А, все не умирая,

Навеки нам дана
Любовь к модели рая,
Что строит Сатана!

Пой и смейся, смейся, пой,
Сдвинув шляпу на затылок,
Колеси по свету, пылок, —
Твой Париж всегда с тобой,
Парижанин, твой Париж с тобой!

Моя масленица в 1829 году

Король! Пошли господь вам счастья,
Хотя, по милости судьи
И гнева вашего отчасти,
В цепях влачу я дни свои
И карнавальную неделю
Теряю в чертовой тюрьме.
Так обо мне вы порадели!
Король, заплатите вы мне!

Но в бесподобной речи тронной
Слегка меня задели вы.
Сей отповеди разъяренной
Не смею возражать, увьи!
Столь одинок в парижском мире,
В день праздника несчастен столь,
Нуждаюсь я опять в сатире, —
Вы мне заплатите, король!

А где-то ряженым обжорам,
Забывшим друга в карнавал,
Осталось грянуть песни хором,
Те самые, что я певал.
Под вопли их веселых глоток
Я утопил бы злость в вине,
Я был бы пьян, как все, и кроток.
Король, заплатите вы мне!

Пусть Лиза-ветреница бредит,
Мое отсутствие кляня,
А все-таки на бал поедет
И лихом помянет меня.
Я б ублажал ее капризы,
Забыл бы, что мы оба голь,
А нынче за измену Лизы
Вы мне заплатите, король!

Разобран весь колчан мой ветхий —
Так ваши кляузники мстят.
Но все ж одной стрелою меткой,
О Карл Десятый, я богат.
Пускай не гнется, не сдается
Решетка частая в окне.
Лук наведен. Стрела взовьется.
Король, заплатите вы мне!

Четырнадцатое июля (В тюрьме Лафорс)

Как ты мила мне, память, в заточенье!
Ребенком я услышал над собой:
— К оружию! На Бастилию! Отмщение!
— В бой, буржуа! Ремесленники, в бой!
Покрыла бледность щеки многих женщин.
Треск барабанов. Пушек воркотня.
Бессмертной славой навсегда увенчан
Рассвет того торжественного д н я , —
Торжественного дня.

Богач и бедный карманьолу пляшут,
Все за одно, все об одном твердят,
И дружелюбно треуголкой машет
Примкнувший к делу парижан солдат.
Признание Лафайета всенародно.
Дрожит король и вся его родня.
Светает разум. Франция свободна.
Таков итог торжественного д н я , —
Торжественного дня.

На следующий день учитель рано
Привел меня к развалинам тюрьмы:
«Смотри, дитя! Тут капище тирана.
Еще вчера тут задыхались мы».
Но столько рвов прорыто было к башням,
Что крепость, равновесья не храня,
Сдалась при первом натиске вчерашнем.
Вот в чем урок торжественного д н я , —
Торжественного дня.

Мятежная Свобода оглашает
Европу звоном дедовской брони
И на триумф Равенство приглашает.
Сих двух сестер мы знаем искони.
О будущем грома оповестили —
То Мирабо, версальский двор дразня,
Витийствует: «Есть множество бастилий,
Не кончен труд торжественного д н я , —
Торжественного дня».

Что мы посеяли, пожнут народы:
Вот короли, осанку потеряв,
Трясутся, слыша грозный шаг Свободы
И Декларацию Священных Прав.
Да! Ибо здесь, — начало новой эры.
Как в первый день творенья, из огня
Бог создает кружащиеся сферы,
Чье солнце — свет торжественного д н я , —
Торжественного дня».

Сей голос старческий не узнаю ли?
Его речей не стерся давний след.
Но вот четырнадцатого июля
Я сам в темнице — через сорок лет.
Свобода! Голос мой не будет изгнан!
Он и в цепях не отнят у меня!
Пою тебя! Да обретет отчизна
Зарю того торжественного д н я , —
Торжественного дня!

Июльские могилы

Цветов из детских рук, цветов охапки,
Цепь факелов, сень пальмовых ветвей
На этот прах! Друзья, снимите шапки!
Дороже он, чем мощи королей.

Король мечтал, что отомстит в июле
За шаткий трон, за лилии герба.
Тогда трехцветное мы развернули, —
Мы, дети якобинцев, голытьба.

Кричали нам. Мы глохли от обиды, —
Как бы под чарой, непонятно чьей.
А вы чуть не воздвигли пирамиды, —
Вы, правнуки бесчисленных мощей!

А! Хартию швырнув нам Христа ради,
Пытались вы согнуть нас под ярмо.
И вот свалился обойденный сзади
Еще один помазанник-дерьмо.

Есть некий клич, внушенный нам от бога.
«Равенство» — это всех сердец пароль.
Но в дальний край ведущую дорогу
Нам заградил рогатками король.

Марш-марш вперед, вперед! Все будет нашим.
Нам — набережные, Лувр, Отель де Виль.
Войдем мы к вам, подразним вас, попляшем
Там, где сияла в позолотах гниль.

Народ — хозяин. Есть у нищих право,
Что взято в голодовках и в крови,
Ничтожных принцев разогнать ораву
И диктовать решения свои.

Цветов из детских рук, цветов охапки,
Цепь факелов, сень пальмовых ветвей
На этот прах! Друзья, снимите шапки!
Дороже он, чем мощи королей.

Рабочих и солдат, сынов Луары,
Теснившихся у пушки школяров, —
Вот их тела! Вот королевской кары
Немые жертвы — безыменный ров.

Им Франция, конечно, храм воздвигнет,
В священном трепете склоняясь ниц.
Любой король, узнав о них, поникнет,
Поймет тщету кордонов и границ.

И перед нашим знаменем трехцветным,
Затрепетав, вздохнет он тяжело.
И ляжет неким сумраком предсмертным
Тень знамени на бледное чело.

Но сонных царств не нарушая мира,
К Святой Елене знамя воспарит,
Где мощь Наполеонова кумира
Над бурей века все еще царит.

На миг от спячки гробовой разбужен,
«Я ждал т е б я , — промолвит скорбно о н , —
Привет! А этот меч уже не нужен!» —
И в бездну бросит меч Наполеон.

Суров и чист его посмертный голос.
Отвергнув все, чем раньше он владел,
То вдохновенье, что за власть боролось,
Одну лишь вольность выбрало в удел.

Цветов из детских рук, цветов охапки,
Цепь факелов, сень пальмовых ветвей
На этот прах! Друзья, снимите шапки!
Дороже он, чем мощи королей!

А титулованная чернь небрежно
Воротит от смиренных жертв носы.
Она клеймит их сволочью мятежной, —
Их, полных благородства и красоты!

Когда во сне вы с ангелами, дети,
Лепечете нежнейшие слова,
Подслушайте из будущих столетий
Незнаемые нами торжества!

О, лишь бы знать, что подвиги не сгинут!
Где мы блуждали, будет прям ваш путь.
Удар, которым наш порыв низринут,
Не даст надолго городам уснуть.

Из этих стен вновь над Европой всею,
Земных народов опьянив умы,
Галопом конницы свободу сея,
Восторженные, пронесемся мы!

Равенство во вселенной загорится,
Законов дряхлых рухнет частокол.
Вот новый мир, где Франция — царица,
Чей вечный Лувр — Париж мансард и школ.

И это плод работы их трехдневной —
Тех, кто в земле, кто проложил вам путь.
Богаты парижане кровью гневной,
На баррикадах бьются грудью в грудь.

Цветов из детских рук, цветов охапки,
Цепь факелов, сень пальмовых ветвей
На этот прах! Друзья, снимите шапки!
Дороже он, чем мощи королей!

Красный человечек

Тьфу, болтун, не дури!
Я старуха, конечно, простая,
Во дворце Тюильри
Сорок лет уже пыль подметаю.
Видно, богурешна, —
Просыпаюсь от сна,
Посмотрела, а в пламени свечек
Этот красный стоит человечек.
Боже правый, молю,
Помоги королю!

А случилось не раз,
Только ночь подойдет, тут как тут он,
Рыж, горбат, косоглаз,
В плащ кровавый, как дьявол, закутан.
Нос загнулся крючком,
Пляшет, скачет бочком,
Хриплым голосом воеет, хохочет,
Во дворцах перемены пророчит...
Боже правый, молю,
Помоги королю!

В девяносто втором
Он впервые пришел и при этом
Из дворцовых хором
Приказал убираться Капетам,
Поднял красный колпак,
Об пол стукнул вот так,
Что дыханье в груди моей сперло,
«Марсельезу» орет во все горло.
Боже правый, молю,
Помоги королю!

Подметала я, глядь,
Он по желобу лезет, к примеру.
Чтоб меня испугать,
Напророчил конец Робеспьеру.
Весь напудрен, завит,
Принял набожный вид,
Сам смеется над саном духовным,
Существом заклинает Верховным.
Боже правый, молю,
Помоги королю!

Хоть террор отшумел,
Да церковные свечи не меркнут.
Он вернуться посмел,
Говорит, императора свергнут!
И султан казака
Вдел в дыру козырька,
И солдатскую песню лихую
Затянул под волынку глухую.
Боже правый, молю,
Помоги королю!

Так запомни и верь,
Чтождемся мы гостя ночного!
В ту же самую дверь
Третью ночь он является снова,
Продолжает игру,
Словно певчий в хору,
И к земле пригибается низко
В черной шляпе своей иезуитской...
Боже правый, молю,
Помоги королю!..

Опост Барбье

(1805—1882)

Раздел добычи

1

Когда тяжелый зной накаливал громады
Мостов и площадей пустых,
И завывал набат, и грохот канонады
В парижском воздухе не стих,
Когда по городу, как штормовое море,
Людская поднялась гряда
И, красноречию мортир угрюмых вторя,
Шла «Марсельеза», — о, тогда
Мундиры синие, конечно, не торчали,
Какие нынче развелись.
Там под лохмотьями сердца мужчин стучали,
Там пальцы грязные впились
В ружейные курки. Прицел был дальнотворок,
Когда, патрон перегрызя,
Рот, полный пороха и крепких поговорок,
Кричал: «Стоять насмерть, друзья!»

2

А вам, молодчикам с большим трехцветным бантом,
Во фраках, с белой грудью, вам,
Затянутым в корсет женоподобным франтам,
Бульварным модникам и львам, —
Как вам спалось, когда, под саблями не тая,
Наперез ночной стрельбе,
Шла рвань великая, шла голытьба святая
Добыть бессмертие себе?
Был полон весь Париж чудес. Но, в малодушье,
Сиятельные господа,
От ужаса вспотев и затыкая уши,
За шторой прятались тогда!

3

В гостиных Сен-Жермен Свобода не блистала.
У ней не княжеская масть.
Ей падать в обморок от криков не пристало,
Ей незачем румяна класть.
Свобода — женщина с высокой грудью, грубо
Сердца влекущая к себе.
Ей широко шагать среди народа, любо
Служить на совесть голытьбе.
Ей любо-дорого народное наречье.
Дробь барабана ей сладка,
Пороховой дымок и где-то за картечью
Ночной набат издалика.
Она любовника в народе выбирает
И бедра отдает свои
Таким же силачам, и сладко замирает,
Когда объятья их в крови.

4

Дитя Бастилии, она была в те годы
 Еще невинней и страстней.
 Народ сходил с ума от девочки Свободы,
 Пять лет он изнывал по ней,
 Но тут же, затаив походный марш в дорогу,
 Швырнув колпак фригийский свой,
 Она с полковником двадцатилетним в ногу
 Шла маркитанткой войсковой.
 И, наконец, сейчас, за дымкой предрассветной
 Достаточно ей промелькнуть
 В проломе черных стен косынкою трехцветной,
 Чтоб слезы с наших глаз смахнуть, —
 Трех дней достаточно, и ветхая корона
 Восставшим в руки отдана,
 Двух-трех булыжников — и пыль на месте трона,
 И армия отражена.

5

О стыд! Вот он, Париж! От гнева хорошея,
 Как был отважен он, боец,
 Когда народный вихрь свернул Капету шею
 И выкорчевывал дворец;
 Как был он сумрачен в мгновенья роковые,
 Во дни гражданских похорон;
 Зияли бреши стен, чернели мостовые
 В лохмотьях боевых знамен...
 Париж, увенчанный так щедро, так недавно,
 Вольнолюбивых стран к у м и р, —
 Колени преклонив перед святыней славной,
 Его недаром любит мир.
 Сегодняшний Париж в промозглых водостоках
 Смешался с гнилью нечистот,

Кипит бурдой страстей стоустых и стооких, —
Волна спадает, вновь растет.
Трущоба грязная, где выходы и входы
Салонной шатией кишат,
Где старые шуты, львы прошлогодней моды,
Ливрею выклянчить спешат.
Толкучка зазывал, божащихся бесстыдно,
Где надо каждому украсть
Лоскут могущества, обломок незавидный,
Смертельно раненную власть!

6

Так, если, выгнанный из заповедной чащи,
Кабан пропорот на лету
И, наземь падая, дрожит, кровоточащий,
В слепящем солнечном свету;
И, захлебнувшийся в пузырящейся лене,
Стихает, высунув язык;
И рог залиvistый, хрипя от нетерпенья,
Скликает на поле борзых;
И свора, как хребет одной волны громадной,
Хребтами выгнулась, рыча,
И чует пиршество, оскаленная жадно
На приглашенье трубача;
И стая собрана, — и прокатился в парке
И по полям свирепый лай,
И воют гончие, борзые и овчарки,
Остервеневшие: валяй!
Валяй! Кабан издох, — псы королями стали!
Псам эта падаль отдана!
За гонку дикую, за то, что мы устали,
Заплатим мертвому сполна!
Валяй! Псари ушли, ошейники не душат,

Арапники не просвистят.
Кровь горяча еще! Клыки нам честно служат,
Клыки за голод отомстят, —
И, как поденщики, кончающие к сроку,
Разделявают тушу вмиг,
Зарылись мордами, когтями рвут глубоко,
И свалка между псов самих, —
Ведь есть у них закон, чтобы кобель обратно
Принес обкусанный мосол
И перед сукою, ревнующей и жадной,
Надменным щеголем прошел,
И суке доказал, как предан ей и жарок,
И, страсть собачью утоля,
Залаял весело, бросая кость в подарок:
«Я вырвал ляжку короля!»

Известность

Известность! Вот она, бесстыдница нагая,
В объятьях целый мир держа
И чресла юные всем встречным предлагая,
Так ослепительно свежа!
Она — морская ширь в сверканье мирной глади:
Едва лишь утро занялось,
Смеется и поет, расчесывая пряди
Златисто-солнечных волос.
И зацелован весь и опьянен прибрежный
Туман полуденных песков.
И убаюканы ее качелью нежной
Ватаги смуглых моряков.
Но море фурией становится и, воя,
С постели рвется бредовой

И выпрямляется, косматой головою
Касаясь тучи грозовой;
И мечется в бреду, горланя о добыче,
В пороховом шипенье брызг;
И топчется мыча, бодает с силой бычьей,
Заляпанная грязью вдрызг;
И в белом бешенстве, вся покрываясь пеной,
Перекосив голодный рот,
Рвет землю и хрипит, слабея постепенно,
Пока в отливах не замрет;
И никнет, наконец, вакханка, и теряет
Приметы страшные свои,
И на сырой песок, ленивая, швыряет
Людские головы в крови.

Идол

1

За дело, истопник! Раздуй утробу горна!
А ты, хромой Вулкан, кузнец,
Сгребай лопатою, мешай, шуруй проворно
Медь, и железо, и свинец!
Дай этой прорве жрать, чтобы огонь был весел,
Чтоб он клыками заблистал
И, как бы ни был тверд и сколько бы ни весил,
Чтоб сразу скорчился металл.
Вот пламя выросло и хлещет, цвета крови,
Неумолимое, ж вот
Штурм начинается все злее, все багровей,
И каждый слиток в бой идет;
И все — беспамятство, метанье, дикий бормот...

Свинец, железо, медь в бреду
Текут, сминаются, кричат, теряют форму,
Кипят, как грешники в аду.
Работа кончена. Огонь сникает, тлея.
В плавильне дымно. Жидкий сплав
Уже кипит ключом. За дело, веселее,
На волю эту мощь послав!
О, как стремительно прокладывает русло,
Как рвется в путь, как, горяча,
Внезапно прядает и вновь мерцает тускло,
Вулканом пламенным урча!
Земля расступится, и ты легко и грозно
Всей массой хлынешь в эту дверь.
Рабыней ты была в огне плавильни, бронза, —
Будь императором теперь!

2

Ты помнишь Францию под солнцем Мессидора,
Ты, корсиканец молодой,
Неукрощенную и полную задора
И не знакомую с уздой?
Кобыла дикая, с шершавым крупом, в мыле,
Дымясь от крови короля,
Как гордо шла она, как звонко ноги били
В освобожденные поля!
Еще ничья рука чужая не простерла
Над ней господского бича,
Еще ничье седло боков ей не натерло,
Господской прихоти уча.
Всей статью девственной дрожала и, напряжась,
Зрачками умными кося,
Веселым ржанием она внушала ужас,
И слушала Европа вся.

Но загляделся ты на тот аллюр игривый,
Смельчак наездник, и пока
Она не чуяла, схватил ее за гриву
И шпоры ей вонзил в бока.
Ты знал, что любо ей под барабанным громом
Услышать воинский рожок,
И целый материк ей сделал ипподромом,
Не полигон — весь мир поджег.
Ни сна, ни отдыха! Все мчалось, все летело.
Всегда поход, всегда в пути,
Всегда, как пыль дорог, топтать за телом тело,
По грудь в людской крови идти.
Пятнадцать лет она, не зная утомленья,
Во весь опор, дымясь, дрожа,
Топча копытами земные поколенья,
Неслась по следу грабежа.
И, наконец, устав от гонки невозможной,
Устав не разбирать путей,
Месить вселенную и, словно прах дорожный,
Вздымать сухую пыль костей,
Храпя, не чуя ног, — военных лет и счадь е, —
Сдавая что ни шаг, хоть плачь,
У всадника она взмолилась о пощаде,
Но ты не вслушался, палач!
Ты ей сдавил бока, ее хлестнул ты грубо,
Глуша безжалостно мольбы,
Ты втиснул ей мундштук сквозь сцепленные зубы,
Ее ты поднял на дыбы.
В день битвы прянула, колени искалечив,
Рванулась, как в года побед,
И глухо рухнула на ложе из картечи,
Ломая всаднику хребет.

Бедлам

Свирепое море гудит в непогоду
И, голову тяжко подняв к небосводу,
То падает, то, накалясь добела,
Бросает на скалы людские тела.
Пожар завывает грозней и жесточе,
Когда в безнадежности пасмурной ночи
Он топчет, как дикий табун, города.
Но злые стихии — огонь и вода,
В их похоти грубой, с их яростью краткой, —
Ничто по сравнению с иной лихорадкой.
Она леденит наше сердце навек.
Смотрите: душевнобольной человек —
Лишь тень человека — томится годами
Под мрачными сводами в страшном Бедламе.

Плачевное зрелище! Вот он бредет,
Низвергнутый в дикую тьму идиот,
До пояса голый, согбенный тупица,
Бредет он, шатаясь, боясь оступиться,
С опущенным взглядом, с бескостной спиной,
С руками, повисшими мертвой лозой,
С глазами, что смотрят бессмысленно тускло.
И рот, и глаза, и любой его мускул,
И низкий, изрытый морщинами лоб —
Все, кажется, быть стариковским могло б.
Он молод годами. Но, взявши за горло,
Безумье к земле человека приперло.
И черепом лысым увенчан скелет.
И мнится: бедняге под семьдесят лет.
Машина оглохшей души бесполезна,
Но все-таки вертится в сцепке железной.

И днем его небо окутано тьмой,
И летом он темен и мрачен зимой,
Уснет, и во сне ничего не приснится,
И, дня не заметив, откроет ресницы.
Живет он, бесчувственный к бою часов,
Он брошен во Время, как в чашу лесов.
Слюна набегает, пузырится пеной.
Он никнет на ложе свое постепенно.
Навеки вокруг темнота, тишина.
Когда же он ляжет для вечного сна
И в землю вернется, не вызвав участия, —
Материя вновь распадется на части.

Смотрите: другой за решеткой не спит,
Постель его смята. Он скачет, вопит.
Молчания нет в одиночной палате.
Он роет солому и рвет свое платье,
Как будто в ожогах вся кожа его.
Глядит, и белки стекленеют мертво,
Зубами скрипит, кулаком потрясает,
Кровавая оргия в нем воскресает...
Не будь он в цепях, — берегитесь тогда!
Попастся в могучие лапы — беда.
Двойная дана сумасшедшему сила!
Дай только ей волю, — рвала бы, крушила
Могильные плиты в столетней пыли,
Прошла бы по дальним дорогам земли,
Неслась бы в горах грохотаньем обвала,
Овраги бы рыла, дубы корчевала.
И вот он простерт на земле, и, хоть плачь,
Бессилен и наг этот дикий силач.
И вертит его колесо вихревое,
Сверкая нагими ножами и воя.

Парит разрушенье над бешеным лбом,
Как в небе стервятник парит голубом.
И только рычанье да смех беспричинный
Внезапно, как молнии, спорят с пучиной,
И если он крикнет, то здесь глубина
Нечленораздельного, страшного сна:
Горячка справляет победу лихую,
Сквозь бедную глотку трубя и ликуя,
А смерть не добила страдальца еще
И сзади стоит и трясет за плечо.

Вот так и стоишь пред столбами Геракла:
Отвага слабеет, и воля иссякла,
Но наглухо вбиты, не дрогнут столбы,
И снова о них расшибаются лбы.
Загадка для всех мудрецов это зданье.
Здесь гибель назначила многим свиданье:
Тот явится после утраты души,
Внезапно лишенный покоя в глуши,
Другой — заглядевшийся слишком упорно
В сознание бездонное, в ад его черный.
И грязный преступник и честный герой
Подвержены общей болезни порой.
Любого гнетет одинаковой властью
Проклятый недуг, роковое несчастье.
И лорд, и король, и священник, и нищий —
Все легче соломинки в брэнном жилище.
Постой у широко распахнутых врат.
Здесь гордость и алчность незримо царят.
Да, гордость и алчность одни! Их призыву
Послушны все твари, кто мыслят, кто живы.
Во тьму слабоумья влечет их поток...

Прощай же, Бедлам, безутешный чертог!
Я глубже проникнуть в тебя не рискую,
Я только смотрю на толпу городскую
И вижу, что яростный гомон и гам
Звучат как молитва безумным богам,
А небо английское в тучах косматых
Похоже на сумрак в больничных палатах.

Джин

Бог несчастных, мрачный дух у стойки,
Родич можжевельной настойки,
Ядовитый северный наш Вахх!
Вот в невразумительных словах
В честь твою составлена кантата.
Эту песню жалобно когда-то
Черт луженой глоткой подпевал,
Затевая адский карнавал.
Это память о веселых гимнах,
Что во славу ураганов зимних
Пел нормандец, пенной брагой пьян,
Слушая, как воеет океан.
Этот вой еще грубей, пожалуй,
Чем когда кентавров рать бежала
И раскатом страшных голосов
Оглашала глубину лесов.

Площадной божок! Тебе людское
Прозябанье в бедах и в покое.
Все тебе — все скверы, все мосты,
Все задворки черной нищеты,
Вся земля в плаще туманной ночи.

И когда, воспламеняя очи,
Веселишься ты, людей губя,
Сам спаситель не святей тебя.
Каждый душу на прилавок кинет,
Мигом детство розовое сгинет,
Осквернят седины старики,
Мигом бросят вахту моряки.
Женщина зимой во тьме кромешной
Все продаст, вплоть до рубашки грешной.
Джина, джина! Наливай полней,
Чтобы волны золотых огней
Дивное несли самозабвенье,
Сладострастный трепет на мгновенье.
Это двери в рай, а не питье,
Горемык бездомных забытье!
К черту шерри-бренди и малагу,
Все, что старой Англии на благо
Бродит в погребах материка!
Дорогая влага нам горька,
И в сравненье с джином та водица
Согреть расслабленных годится,
Взбадривать, рассеивать недуг,
Разжигать тщедушный, вялый дух.
Для других — веселье пьяных ночек,
Хороводы вокруг тяжелых бочек,
Буйный хохот, пляску там найдешь,
Жар любви, живую молодежь!
Нет! От джина мы уж не пылаем,
Женской ласки больше не желаем.
Это поило мы в себя вольем,
Чтобы отыскать забвенье в нем.

Здравствуй, джин! В грязи ночной таверны
Встань, безумье, как хозяин скверный,

Расставляй нам кружки, идиот!
Смерть накатит, — часу не пройдет.
Смерть не дремлет. У нее обычай:
Костяной ладонью с силой бычьей
Сеять плюхи, не жалеть пинков
Беднякам английских кабаков.
Тиф или чума на всех кладбищах
Не уложит в землю столько нищих,
Лихорадка по размывам рек
Стольких не наделает калек.
Кожа пожелтеет, как булыжник,
Потускнеет пламя глаз недвижных,
Ошалев мозг, трезвон в ушах,
Только тяжелее станет шаг.
И, как пулей скошенная кляча,
Пьяный рухнет, ноги раскоряча,
Стукнется о камень головой
И уже не встанет с мостовой.
Так, не расставаясь с тяжким бредом,
Будет он и погребенью предан.
Впавших в этот роковой недуг
Мнет телега или бьет битюг.
Тот, в дупло пихнувши все наследство,
Вешает на черный сук скелет свой.
Глядь, шагнул на шаткий мост иной,
Прыгнул спяну в омут ледяной.
Всюду джин глушит, калечит, валит,
Всюду смерть на жертву зубы скалит...
Мать — и та, квартала не пройдя,
Выпустит из глупых рук дитя.
На глазах у женщин забубенных
Разбивает голову ребенок.

Виктор Гюго

(1802—1885)

История

Ferrea vox.
Vergilius
Железный голос.
Вергилий

I

В судьбе племен людских, в их непрерывной смене
Есть рифы тайные, как в бездне темных вод.
Тот безнадежно слеп, кто в беге поколений
Лишь бури разглядел да волн круговорот.

Над бурями царит могучее дыханье,
Во мраке грозовом небесный луч горит,
И в кликах праздничных и в смертном содроганье
Таинственная речь не тщетно говорит.

И разные века, что братья исполины,
Различны участью, но в замыслах близки,
По разному пути идут к мете единой,
И пламенем одним горят их маяки.

II

О муза! Нет времен, нет в будущем предела.
Куда б она очей своих ни подняла.
И столько дней прошло, столетий пролетело, —
Лишь зыбь мгновенная по вечности прошла.

Так, знайте, палачи, вы, жертвы, знайте твердо:
Повсюду пронесет она бессмертный свет —
В глубины мрачных бездн, к снегам вершины гордой,
Воздвигнет храм в краю, где и гробницы нет.

И пальмы отдаст героям в унижение,
И нарушает строй победных колесниц,
И грезит, и в ее младом воображенье
Горят империи, поверженные ниц.

К развалинам дворцов, к разрушенным соборам,
Чтоб услышать ее, сберутся времена.
И словно пленника, покрытого позором,
Влечет прошедшее к грядущему она.

Так, собирая след крушений в океане,
Следит во всех морях упорного пловца
И видит все зараз на дальнем расстоянии —
Могилу первую и колыбель конца.

* * *

Скупая, чахлая, иссохшая земля,
Где люди трудятся, сердец не веселя,
Чтоб получить в обмен на кротость и упорство
Горсть зерен иль муки для их лепешки черствой;
Навеки заперты среди бесплодных нив
Большие города, что, руки заломив,
Ждут милосердия и мира, жаждут веры;
Там нищий и богач надменны выше меры;
Там ненависть в сердцах, там смерть, слепая тварь,
Казнит невинного и лучшего, как встарь;
А там снега вершин, за маревом туманным,

Где стыд и правота живут в ладу с карманом;
Любая из страстей рождает столько бед,
И столько волчьих стай в чашобе жрет обед;
Там — засуха и зной, тут — северная вьюга;
Там океаны рвут добычу друг у друга,
Полны дрожащих мачт, обрушенных во тьму;
Материки гудят, тревожатся в дыму,
И с чадным факелом рычит война повсюду,
И, села превратив в пылающую груды,
Народы к гибели стремятся чередой...

И это на небе становится звездой!

Что я видел в тот весенний день

Когда я дверь толкнул, лачуга задрожала.
Детишки плакали. Их мать мертва лежала.
Все устрашало взгляд в жилище мрачном том.
Простерта мертвая на топчане пустом.
Ни лампы, ни свечи. Убогий угол темен.
Сквозь дыры в потолке торчат пучки соломин.
Ребята сгорбились, молчат, как старики.
Как предрассветный луч, как сквозь туман реки,
Лицо покойницы блестит улыбкой странной.
И старший, лет шести, промолвил: «Ах, как рано
Ушла она от нас, как стало нам темно!»

Здесь преступление сейчас совершено.
Я вижу, вот оно! Под солнцем дня лучистым
Та женщина была созданием кротким, чистым.
Всевышний, знающий глубины наших душ,
Ей счастье обещал. Был у нее и муж,

Рабочий молодой. Без горечи, без злобы
Шли по земле они, дружили честно оба.
Сначала был убит холерой муж. Вдова,
Мать четырех детей, от горя чуть жива,
За труд мужской взялась неутомимо, скромно,
Самостоятельно, упорно, экономно..
Постель без одеял, лачуга без огня.
Нигде не жалуясь, достоинство храня,
Мать штопает старье, плетет рогожу, вяжет,
Не разогнет спины, до света спать не ляжет,
Чтоб накормить ребят, — куда там подремать!..
Однажды к ним войдут, — прикончил голод мать.

О да, кусты полны малиновок поющих!
Грохочут кузницы от молотов кующих.
Ждут маски на балу, чтоб кто-то их искал.
Есть нежный поцелуй, и волчий есть оскал.
Все на земле живет. Барыш купцом подсчитан.
Кареты катятся. Смех — вот опять звучит он.
Жрут землю поезда. Нарядный пароход
Гудит над зеркалом морских соленых вод.
И среди общего движения и света
Скончалась в хижине страдальца вот эта.
Встал голод, как вампир, и взвыл, ожесточась,
И скрытно к ней вошел, и в полуночный час
Сдавил ее гортань. Он был жесток, но чуток.

Да, голод — это взгляд бульварных проституток,
Дубинка и кастет грабителя, рука
Ребенка, что крадет бутылку молока,
Бред лихорадочный, предсмертное хрипенье
На ложе нищенском у гробовой ступени.
Избыточен твой сад, создатель наш, увы!

Земля полна плодов, и злаков, и травы;
Где лес кончается, там зеленеет поле.
Меж тем как все живет по милосердной воле,
И муха кормится на ветке бузины,
И путник горстью пьет из чистой быстрины,
И дарит кладбище стервятникам их ужин,
Меж тем как каждый зверь живой природе нужен,
И здравствуют шакал, и тигр, и василиск, —
Погибнет человек! Предъявим общий иск!
Голодной смертью строй общественный затронут.

Вот сирота, господь! Он в саван запеленут.
Он голоден. Птенец глядит в ночную тьму.
Раз колыбели нет, свей хоть гнездо ему!

Статуя

Катилась римская империя во мглу.
Погибший Карфаген сквозь пламя и золу
Желал и ей расплаты срочной.
Все, что в ней славилось, разбилось в пыль и прах.
Кончался мощный мир в полуночных пирах,
Еще надменный и порочный.

Он был богат и пуст, и тщетно попирал
Своих бесчисленных рабов. Он умирал,
Не слыша собственного стона.
Вино, да золото, да кровь в конце концов,
Да евнухи взамен державных мудрецов,
Да Тигеллин взамен Катона.

То было зрелище не для людских очей.
Отшельники пещер в глубокой тьме ночей
О нем раздумывали глухо.
В течение трех веков господствовала тьма.
Народы слышали, что катятся грома
Над трижды проклятой разрухой.

Лень, Роскошь, Оргия, и Ненависть, и Спесь,
И Скупость, и Разврат изнемогали здесь,
Вытъем вселенную наполнив.
Ударила гроза во мглу их сонных век,
И на мечях семи архангелов навек
Остался слабый отблеск молний.

А Ювенал — поэт безумных этих дней —
Стал ныне статуей, сверкает соль на ней.
Он страж полуночного храма.
К подножью голому не ластится трава.
И в сумрачных глазах читаем мы слова:
— Я слишком много видел срама.

Надпись на экземпляре «Божественной комедии»

Однажды человек мне пересек дорогу.
Он был закутан в плащ, как в консульскую тогу,
И странно черен был под звездами плед.
Остановясь, вперил в меня запавший взгляд,
Горящий пламенем и грозно одичалый,
И молвил:

— Я стоял как горный кряж сначала
И заслонял собой безмерный кругозор,
Потом разбил тюрьму и сделал зрячим взор,
Прошел одну ступень по лестнице явлений,
И мощным дубом стал для гимнов и молений,
И шелестом листвы будил ночную синь.
Потом в обличье льва среди нагих пустынь
Рычаньем оглашал полуночные дали.

Теперь я человек. Мне имя Данта дали.

* * *

Простерта Франция немая.
Тиран ступил на горло ей.
Но, вольный голос понимая,
Она трепещет тем сильнее.

Изгнанник в темный час отлива
Под пляску звезд и плеск волны
Заговорил неторопливо,
И все слова его ясны.

Они полны угроз растущих,
Сверкают утренним лучом,
Как руки, вытянуты в тучах
И боевым разят мечом.

И затрепещет мрамор белый,
И горы ужас сокрушит,
И лес листвою оробелой
В ночную пору зашуршит.

Пусть медью звонкой громыхая,
Вспугнут стервятников слова,
Пусть зашумит в ответ сухая
На диких кладбищах трава.

И те слова: позор насилью!
Измене мерзостной позор! —
Они недаром возгласили
Для стольких душ военный сбор.

Они, как вихри грозовые,
Над человечеством парят.
И если крепко спят живые,
Пусть мертвые заговорят!

Искусство и народ

1

Искусство — радость для народа.
Оно пылает в непогоду
И блеском полнит синеву.
И во всемирном озаренье
Идут в народ его творенья,
Как звезды мчатся к божеству.

Искусство — гимн великолепный,
Для сердца кроткого целебный.
Так город лесу песнь поет,
Так славит женщину мужчина,
Так вся душевная пучина
Хвалу творенью воздаст.

Искусство — это мысль живая.
Любые цепи разбивая,
Оно открыло ясный лик.
Ему и Рейн и Тибр угоден.
Народ в оковах, — будь свободен!
Народ свободный, — будь велик!

2

Будь, Франция, непобедима,
Будь милосердна, будь едина
И пристальной гляди вперед!
Твой голос, радостный и ясный,
Сулит надежду людям властно,
Мой добрый, доблестный народ!

Пой на заре, народ рабочий,
Пой под вечер, во славу ночи.
Да будет в радость труд любой!
Пой о тяжелой жизни прежней,
Тихонько пой подруге нежной
И громко в честь свободы пой!

Пой, что Италия прекрасна,
Что Польша в кандалах несчастна,
Что Венгрия полумертва,
Что пал Неаполь, слезы льющий.
Тираны! Наш народ поющий
Страшной разгневанного льва.

Он засмеялся!

«Г-н Виктор Гюго только что выпустил в Брюсселе книгу под названием «Наполеон Маленький», содержащую злейшую клевету на принца-президента. Рассказывают, что на этих днях один из садовников привез книжонку в Сен-Клу. Луи-Наполеон посмотрел на нее, взял в руки, перелистал, презрительно усмеаясь, и, обращаясь к присутствующим особам, изволил сказать о памфлете: „Вот, господа, Наполеон Маленький, изображенный Виктором Гюго Великим!“»

*(Газета Елисейского дворца,
Август, 1852 г.)*

Ага! Придет пора — и взоешь ты, наверно!
Тебя, пыхтящего от работенки скверной,
Кривляющегося в триумфе шутовском, —
Схватил я и навек снабжаю ярлыком.
Сбегается толпа. Ты высмеян, мошенник!
Прикрученный к столбу, заклепанный в ошейник,
От плюх и от плевков не спрячешь ты лица.
Вот воинский мундир срывает с подлеца
Сама история и оголяет торс твой.
Но продолжается, дурак, твоё притворство:
Услышав про меня, смеешься ты еще!

Я раскаляю прут и жгу твоё плечо.

Веселая жизнь

1

Ну что ж, мошенники, кретины и громилы!
Не мешкая, к столу! Вас жадность истомила, —
Вам места хватит здесь!
Жизнь промелькнет, глядишь, поздравит слишком
скупю.
Народ наш побежден, народ умолкнул тупо,
Народ вам отдан весь!

Срезайте кошельки и государство съешьте!
Опустошите все, чем любовались прежде!
Настал удобный час!
Последний вырван грош, последний взят кусочек
У сельских пахарей, у городских рабочих!
Все козыри у вас!

Да здравствует разгул! Да здравствуют пьянчуги!
А бедная семья дрожит в своей лачуге,
А жизнь ее горька,
А в сумерках отец ждет корки Христа ради,
А мать не принесет, угрюмо в землю глядя,
Ребенку молока.

2

Все деньги забраны! Все замки заселили!
Недавно я видал подвалы в нашем Лилле, —
Я опустился в ад:
Мир жалких призраков в подземном мраке скупен,
Изглодан холодам и ревматизмом скрючен,
К нагой земле прижат.

Там ужас царствует, там воздух дышит ядом,
Слепые топчутся с чахоточными рядом,

Ползет по стенам слизь.

Развившись в двадцать лет, там к тридцати дряхлеют,
И смерть безумствует, и души еле тлеют,

И язвы в плоть впились.

Ни света, ни огня. По стеклам ливень хлещет.
И поневоле взгляд слабеет и трепещет,

Впиваясь в темноту.

У ткацкого станка немые жмутся тени,
Немые призраки сгибаются в смятенье,

В слезах, в грязи, в поту.

Глядит как бы сквозь сон на женщину мужчина.
Отец в отчаянье, что всю семью пучина

Затягивает в ночь...

При виде дочери, что хлеб ему приносит,
Он не осмелится, он ни за что не спросит:

«Откуда деньги, дочь?»

Там опит отчаянье в своих лохмотьях грязных.
Там молодой апрель — существованья праздник —

Не ярче декабря.

И словно роза днем, а под вечер — фиалка,
Там плачет девушка, оглядываясь жалко,

Глухим стыдом горя.

Там ниже всех клоак, под улицами всеми,
Не видя света днем, людские дрогнут семьи,

Там и оконца нет.

И только я вошел, вдруг все затрепетало.

И девушка с лицом старухи прошептала:

«Мне восемнадцать лет».

Там и соломенной подстилки нет, быть может.
И ребятишек мать несчастная уложит
 В пролом нагой стены.
Голубки крепко спят, а завтра утром дети
Найдут не колыбель на этом белом свете,
 А в землю лечь должны.

Подвалы Лилля! Смерть в подвалах этих бродит!
Куда ни кину взгляд, повсюду он находит
 Погибших жизней ряд:
Вот полуголая, голодная девчонка,
Вот мать, как статуя, молчит, прижав ребенка.
 Я вижу Дантов ад.

Из этих горьких недр взросло богатство ваше,
Здесь гибнут тысячи, чтобы блистали краше
 Вы, принц, ханжа, гордец!
Ваш бешеный бюджет, ваш бесшабашный отдых
Сочатся каплями на выступах и сводах,
 Сочатся из сердец!

В сцеплении колес, что вертит тирания,
Казна завинчивает все винты дрянные.
 Есть у казны расчет...
Скрипят винты, скрипят, давилъню тупо движут.
И, словно виноград, труд человека выжат.
 А золото течет!

Из безнадежности, из длительных агоний,
Из мрака, из лачуг, где белый день в загоне,
 Где безысходна ночь,
Из стоков нечистот, из горечи и муки
Отцов и матерей, что заломили руки
 И молят им помочь, —

Да, из таких глубин униженности лютой
Встает чудовище со звонкою валютой
И щупальца свои
Протягивает в мир, и во дворцах пирует,
Венчает розами, и взорами чарует,
Купается в крови!

3

Ступай же в яркий рай! Пей, чтоб гортань не сохла!
Оркестр хохочет. Пир окрасил кровью стекла.
Стол ломится от яств.
Тьма где-то там, внизу. Но двери на запоре.
Там плачет девушка, с проклятой жизнью споря,
Она себя продаст.

Вы — соучастники всех наслаждений темных:
Подкупленный судья, или солдат-наемник,
Или бесстыжий поп!
Ваш Лувр на нищете построен. В этой бездне
В обнимку с голодом свирепствуют болезни,
Свирепствует потоп.

Вы во дворце Сен-Клу в венках из маргариток
Резвитесь в эту ночь среди нежных фавориток,
В разгаре шумный съезд.
А каждая из них под люстрою стосвечной
Зубами белыми с улыбкою беспечной
Живьем ребенка съест.

Ей наплевать на все! Горит огнем палата.
У императора, у принца, у прелата
Немало есть утех!
Плачь, погибай, народ, или зубами ляскай,
С тебя достаточно, что любовался пляской,
Что услышал их смех!

Ну и пускай! Набьют сундук, набьют карман свой,
Пускай Тролон, Сибур, Барош продолжают пьянство, —
Картина хоть куда!
И если весь народ от голода распухнет
И в бездну нищеты невозвратно рухнет,
Вас вырвет, господа!

4

Шагают по тебе, народ, по баррикадам,
Недавно выросшим из мрака под раскатом
Твоих недавних битв.
Кареты катятся, блестя и торжествуя.
Под их колесами ты втопан в мостовую,
Ты, как булыжник, вбит.

Им — золото твое. Тебе — нужда и голод.
Ты, как бездомный пес, что вечно терпит холод
У запертых дверей.
Им пурпур и шелка. Тебе опять объедок.
Им ласка женская, народу напоследок
Бесчестье дочерей!

5

Но кто-то говорит! И муза речь услышит.
Сама история негодованьем дышит
И судит палачей.
Есть мститель за тебя, о Франция родная!
Есть слово, что гремит, казня и проклиная,
Во тьме твоих ночей.

Лихая шатия, разбойничья орава,
Свободу, и народ, и родину, и право
Безжалостно грызя,

Дрянь бессердечная, двуликая болтает:
«Все это чушь! Поэт? Он в облаках витает...»
Что ж! В облаках — гроза!

Черный стрелок

Кто ты, бредущий в чаше дремучей?
Вороны вьются горластой тучей.
Дождь недалек.
— Я прохожу над кремнистой кручей,
Черный Стрелок!

Лет зашумел, гудит, шевелится,
Ветер поет.
Что за шабаш здесь веселится,
Пляшет, снует?
Туча тусклым лучом серебрится, —
Месяц встает.

Бей по хищникам, дружным с мраком,
Вскачь по чащобам, по буеракам!
Сумрак глубок.
Бей по царям, по австриякам,
Черный Стрелок!

Лес зашумел, гудит, шевелится...

В рог протруби в ликованье диком
Дичи вдогон со злорадным гиком,
Жди у берлог,
Бей по попам, бей по владыкам,
Черный Стрелок!

Лес зашумел, гудит, шевелится...

Ливень, гроза по лесистым склонам,
Прячется зверь в дупле потаенном,
В норке залег.
Вей по судьям, по гнусным шпионам,
Черный Стрелок!

Лес зашумел, гудит, шевелится...

Видит святой Антоний со страхом:
Бесы танцуют над смертным прахом.
Вышел их срок.
Бей по аббатам, бей по монахам,
Черный Стрелок!

Лес зашумел, гудит, шевелится...

Бей по медведям матерым, злейшим,
С гончею сворой путем быстреешим!
Вскачь без дорог!
Бей по святейшим, по августейшим,
Черный Стрелок!

Лес зашумел, гудит, шевелится...

Волк отошальный злобится к марту.
Доброе имя поставь на карту,
Туже курок!
Бей по бандиту, по Бонапарту,
Черный Стрелок!

Лес зашумел, гудит, шевелится...
Ветер поет,

Что там за шабаш тоскует, злится,
Вянет, гниет?
Закукарекал петух с денницей.
Солнце встает.

Все пробудилось, полнится светом.
Стань всей Францией в пламени этом,
Ясен и строг,
Ангелом белым, в славу одетым,
Черный Стрелок!

Песня

Его величье перед богом
В пятнадцать лет
Оставило по всем дорогам
Слепящий след.
Весь мир, в восторге и досаде,
Ему внимал.
А ты, мартышка, прыгай сзади!
Ты мал! Ты мал!

Наполеон в боях был страшен.
Его орел
Мортиры вел и выше башен
Приют обрел.
И он, взойдя на мост Аркольский,
Врага сломал.
Грабь золото, змееныш скользкий!
Ты мал! Ты мал!

Он города картечью шарил
 В пылу страстей.
За каменным корсажем шарил
 У крепостей.
Бастилиям швырял он плюхи,
 Им плечи мял.
А для тебя танцуют шлюхи!
 Ты мал! Ты мал!

Прошел он горы и долины
 И сжал рукой
Огонь и порох, бич старинный, —
 Плачь, род людской!
И, пьяный славою, свой кубок
 Вверх подымал.
Так пей же кровь с прелестных губок!
 Ты мал! Ты мал!

Его паденью с острой кручи
 Раскрыл прибой
Свой зев огромный и горючий
 И взял с собой,
Чтоб сладко мировой изгнанник
 На дне дремал.
Утонешь ты в грязи, племянник!
 Ты мал! Ты мал!

Роза инфанты

Она еще дитя. Ее ведет дуэнья.
Сжав розу в пальчиках, глядит без удивленья,
Глядит бессмысленно. На что?.. Вот водоем,
Дробящий в зеркале таинственном своем
Седые пинии. Вот лебеди белеют.
Вот волны зыбкие в полудремоте млеют.
Вот светом, залитый большой цветущий сад.
И нежный ангелок бросает взгляд назад.
Там высятся дворцы — седые исполины.
Там синева озер, блестящие павлины
И лани, пьющие в озерах. И дитя
Любуется на все, с дуэньей проходя.
При виде грации, трепещущей несмело,
Как будто и трава нежней зазеленела
И превращается в чистейший изумруд,
Дельфины брызгами сапфирными плюют.
А девочка с цветка отвесьть не может взора.
На юбке кружевной тончайшего узора
Меж складок прячется расшитый арабеск,
И сыплет золото свой флорентийский блеск.

А роза лепестки меж тем раскрыла сразу.
Раздвинутый бутон — как маленькая ваза,
И ваза хрупкую ручонку тяготит.
И, губы вытянув, ребенок вновь глядит
И морщится слегка, вдыхая благовонье.
И роза яркая в пурпуровой короне
Закрыла розовое личико собой.
И роза и дитя — как в дымке голубой.
И глаз колеблется, не видит грани зыбкой
Меж розовым цветком и розовой улыбкой.

И синие глаза ребенка все синей.
Вся красота весны, вся прелесть мира в ней,
В больших ее глазах и в имени Марии, —
Смотри на девочку и сердце подари ей!

Но пятилетняя, бросая взгляд вокруг,
Свое владычество почувствовала вдруг.
Струится светотень, лазурь сверкает ярко.
Закат, пылающий великолепной аркой,
Склоняет перед ней багряные лучи.
У ног ее журчат незримые ключи.
И в средоточии всей видимой вселенной
Она ведет себя и чванно и надменно.
Любое из существ пред нею спину гнет.
Есть у нее Брандербург, но скоро день придет,
Когда вся Фландрия к ногам инфанты ляжет,
Когда Сардиния она молчать прикажет.
И слабое дитя, гуляя по земле,
Тень власти будущей проносит на челе.
И каждый шаг ее ведет к ступеням трона.
В руках ее цветок, в мечтах ее корона.
И выражает взгляд младенца: «Все — мое!»
И каждый в ужасе невольном от нее.
И если кто-нибудь взгляд на дитя уронит,
Чтобы ее спасти, хотя бы пальцем тронет, —
Рта не раскроет он и шагу не шагнет,
Как тотчас пред собой увидит эшафот.
А у нее сейчас есть лишь одна забота —
Держать в руке цветок, дойти до поворота
Аллеи стриженной и повернуть назад.

Вечерним золотом горит роскошный сад,
И в гнездах на ветвях стихает щебетанье.
Богиням мраморным как будто грустно втайне,

Как будто боязно, что ночь уже близка.
Ни звука резкого вокруг, ни огонька.
И вечер близится, скрывая мглой растущей
И пташку на ветвях и солнышко за тучей.
Гуляет девочка, цветок в руке держа...
А в сумрачном дворце, где каждый вход — ханжа,
Где каждый шпиль похож на пастырскую митру.
Там, за цветным стеклом, невидимый и хитрый,
Какой-то призрак есть. Он бродит по дворцу,
И тень зловещая змеится по лицу.
Порою целый день, безмолвный и недвижимый,
Стоит он у окна в тревоге неподвижной.
Он в черное одет. Его землистый лик
Жесток и чопорен. Он страшен и велик.
Прижавшись лбом к стеклу, о чем-то он мечтает.
И тень его в лучах заката вырастает,
И шаг его похож на колокольный звон.
Он мог бы смертью быть, не будь монахом он.

Вот он бредет, и вся империя трепещет.
И если б видел ты, как взор усталый блещет,
Когда он бодрствует, прижав плечо к стене,
Ты смог бы разглядеть в глазах, на самом дне,
Не милое дитя, не парк в зеркальных водах,
Не солнца низкого передвечерний отдых,
Не птиц, порхающих среди густых ветвей, —
Нет, в мертвенных глазах из-под густых бровей,
В их мрачной скрытности, в их черством честолюбьи,
На самом дне зрачков, как в океанской глубине,
Ты мог бы разгадать, чем этот призрак полн:
Он видит корабли среди взметенных волн,
Лохмотья пенных брызг, и в полночи звездной
Он видит паруса, подобно туче грозной.
Там, за туманами, есть остров меловой,

Услышавший раскат грозы над головой.
Встают пред королем все новые виденья.
Вся суша, все моря, весь мир — его владенья.
И только власть и смерть увидев пред собой,
Непобедимую армаду шлет он в бой.
И вот плывет она, плывет по глади пенной
И завтра вызовет смятенье во вселенной.
Король следит за ней с недобрим торжеством,
Сосредоточенный в решенье роковом.
Король Филипп Второй воистину был страшен.
Его Эскуриал в ограде острых башен
Казался чудищем для всех племен и стран.
Не знала Библия, не выдумал Коран
Такого образа для воплощенья злобы.
Служил подножеством мир лишь для его особы.

Он жил невидимый, и странные лучи
Немого ужаса распространял в ночи.
Дрожали многие при виде слуг дворцовых,
Настолько самый звук шагов его свинцовых
В смятенье подданных несчастных приводил.
В соседстве с божеством и сонмами светил
Он нависал своей уродливой державой
Над человечеством, как винт давяльни ржавой.
Сжав Индию в руке, Америку держа,
Владея Африкой, Европу сторожа,
Одну лишь Англию он изучал с опаской.
Но он молчал о том. Он не дружил с оглаской.
Он воздвигал свой трон из козней и засад.
Его сообщником был полуночный ад,
И мрак служил конем для всадника ночного.
Он вечно в трауре: у божества земного
Пожизненная скорбь — пожизненный удел.
Сфинкс молчаливых уст раздвинуть не хотел.

Для всемогущего бесцельно красноречье,
Улыбка не нужна. От смеха он далече.
Железные уста весельем не кривят,
Зарею утренней не освещают ад.
И если он порой из столбняка выходит,
То рядом с палачом по подземельям бродит.
Вот отблеском костров безумный взгляд сверкнул, —
Он сам их разложил и сам же их раздул.
Он страшен для людей, для мысли и для права,
Святоша и слуга святейшего конклава,
Он дьявол, властвующий именем Христа.
Его упорная унылая мечта
В низинах ползала, как скользкая гадюка.
В Эскуриале гнет, в Аранхуэсе скука,
Безлюдье в Бургосе. Где ни найдет он кров,
Там места нет шутам, нет праздничных пиров, —
Измены вместо игр, костры взамен веселья.
И замыслы его полночные висели,
Висела мысль его, как саван гробовой,
Над каждой молодой и дерзкой головой.
Когда молился он, ворчали громы глухо.
Когда он побеждал, везде росла разруха.
Когда он раздвигал туман бессонных грез,
«Мы задыхаемся», — из края в край неслось,
И цепенело все и пряталось глубоко
От жутких этих глаз, сверлящих издалека.

Карл Пятый коршун был. Филипп Второй — сова.

В обычном трауре, в минуты торжества
Он высится, как страж неведомой судьбины,
Недвижный и сухой. Очей его глубины
Зияют отсветом пещерной пустоты.

Легонько дрогнули костлявые персты,
Чтоб мраку дать приказ и сделать росчерк зыбкий.
Но что за чудеса! Подобие улыбки
Непроницаемой уста кривит ему.
Он видит сквозь туман, сквозь тучи и сквозь тьму
Свой флот, отстроенный и мощно оснащенный,
Заветную мечту он видит воплощенной —
И воспарил над ней высоко в небеса,
Послушен океан. Надуты паруса.
Непобедимая снаряжена армада
И держит курс вперед. И все идет, как надо.
Порядок шахматный ровняют корабли.
Лес вознесенных мачт, прочерченных вдали,
Покрыл морскую ширь решеткой, как на плане.
Свирепые валы смиряются заране.
К причалу корабли течением влечет.
Куда ни глянь — везде им помощь и почет.
Все глаже гладь воды, все тише плеск прибоя,
И море пенится, жемчужно-голубое.
Галеры на подбор. На скамьи для гребцов
И Эско и Адур прислали храбрцов.
Сто рослых штурманов, два зорких полководца.
Германия прислать орудия клянется.
Там сотня бригантин. Сто галиотов тут.
Неаполь, Кадикс, Лиссабон приказа ждут.
Филипп склоняется. Что значит расстояние!
Не только видит он, но слышит в океане.
Вот, ринувшись к бортам, завыли в рупора.
Сигнальные флажки взвиваются с утра.
Вот адмирал, склонясь к плечу пажа, смеется.
Дробь барабанная. Свистки. И раздается
Сигнал: «На abordаж!» По вражеским бортам
Залп! Вопли раненых. И снова залп! А там —
Что это? Крылья птиц иль паруса белеют?

Иль башни рушатся и в дымных тучах тлеют?
Крепчает дикий шторм. В разгаре грозный бой.
Все движется пред ним на сцене голубой.
Страшна улыбка уст его землисто-серых.
Сто тысяч храбрых шпаг на ста его галерах.
Вампир оскалится. Он голод утолил,
Позором Англии себя развеселил.
Кто выручит ее? Мир порохом наполнив,
Победу празднуя, он машет связкой молний.
Кто вырвет молнии из этой пятерни?
Он выше Цезаря. Куда там ни взгляни,
Все ждет его суда, все ждет его удара —
От Ганга берегов до башен Гибралтара.
Он скажет: «Я хочу!» — и так тому и быть.
Он за волосы взял победу, чтоб добыть
Ширь океанскую без края, без преграды
Для устрашающей, для праведной армады.
И распахнулся мир! И развернулся путь!
Достаточно ему мизинцем шевельнуть,
Чтоб дальше ринулись плавучие драконы.
Да, он есть властелин единственный, исконный!
Пусть прозвучат ему стоустые хвалы!

Султан Бей-Шифразил, преемник Абдиллы,
Построивший мечеть священную в Каире,
На камне вырезал: «Аллах царит в эфире, —
Я правлю на земле». Для всех веков и стран
Лгут одинаково насильник и тиран.
То, что сказал султан, король подумал втайне.

А между тем бассейн еще хранит блистанье.
Инфанта-девочка целует свой цветок,
Любуется, смеясь, на каждый лепесток.

Вот легкий ветерок, чуть слышный, незаметный,
Подул негаданно, запел в листве несметной,
Он воду зарябил, и шевелит тростник,
И легким трепетом в огромный парк проник,
И дерево встряхнул, и, словно ненароком,
Коснулся девочки крылом своим широким,
Дохнул на личико, еще дохнул, — и вот
Шесть алых лепестков плывут по глади вод...

Остался девочке лишь стебель острых терний.
И нагибается она к воде вечерней.
Ей страшно. Как понять, куда цветок исчез?
Так смотрим мы порой на темный свод небес,
Оцепенелые, ждем приближенья бури...

Бассейн волнуется. Он полон был лазури,
Сверкал, как золото, — и, сразу почернев,
Кипит и пенится. В нем пробудился гнев!
И роза бедная рассыпалась и тонет.
Намокли лепестки. Их ветер дальше гонит,
И вертит медленно, и тянет их на на дно.
Их участь решена. Мгновение одно —
И вот пришел конец корабликам несчастным.

Дуэнья хмурится и с видом безучастным
Ребенку говорит: «Власть ваша велика.
Все вам принадлежит — все, кроме ветерка».

За баррикадами, на улице пустой,
Омытой кровью жертв, и грешной, и святой,
Был схвачен мальчуган одиннадцатилетний.
— Ты тоже коммунар? — Да, сударь, не последний!
— Что ж! — капитан решил. — Конец для всех —

расстрел.

Жди, очередь дойдет! — И мальчуган смотрел
На вспышки выстрелов, на смерть борцов и братьев.
Внезапно он сказал, отваги не утратив:
— Позвольте матери часы мне отнести!
— Сбежишь? — Нет, возвращусь! — Ага, как ни верти,
Ты струсил, оголец! Где дом твой? — У фонтана. —
И возвратиться он поклялся капитану.
— Ну, живо, черт с тобой! Уловка не тонка!

Расхохотался взвод над бегством паренька.
С хрипеньем гибнущих смешался смех победный.
Но смех умолк, когда внезапно мальчик бледный
Предстал им, гордости суровой не тая.
Сам подошел к стене и крикнул: — Вот и я!

И устыдилась смерть, и был отпущен пленный.

Дитя! Пусть ураган, бушуя во вселенной,
Смешал добро со злом, с героем подлеца,
Что двинуло тебя сражаться до конца?
Невинная душа была душой прекрасной.
Два шага сделал ты над бездною ужасной:
Шаг к матери один и на расстрел второй.
Был взрослый посрамлен, а мальчик был герой.
К ответственности звать тебя никто не вправе.

Но утренним лучам, ребяческой забаве,
Всей жизни будущей, свободе и весне
Ты предпочел прийти к друзьям и встать к стене.
И слава вечная тебя поцеловала.
Когда-то в Греции поклонники, бывало,
На меди резали героев имена
И прославляли их земные племена.
Парижский сорванец, и ты из той породы!
И там, где синие под солнцем блещут воды,
Ты мог бы отдохнуть у каменных вершин.
И дева юная, свой опустив кувшин
И мощных буйволов забыв у водополя,
Смущенно издали следила б за тобою.

Шарль Бодлер

(1821—1867)

Всю вселенную ты в своей спальне вместила.
Только скука нечистую тварь охватила,
Вот и точишь играючи зубы с тоски,
Что ни день разрываешь сердца на куски.
А в глазах — освещенье, как в лавках столичных:
Не мигая горят на гуляньях публичных, —
Так могущество взгляда используешь ты,
Но не знаешь закона его красоты.

О слепая, глухая машина увечий,
Инструмент, чтоб высасывать мозг человечесий,
Как бесстыдно нагла, как ты только могла
Не бледнея глядеться в свои зеркала?
Мастерица по части зловещей заразы,
Как же ты не отступишь, не дрогнешь ни разу,
Если это природа сама неспроста
Обработала женщину, словно скота,
Чтобы ты забавлялась, уродуя гения?

О величие грязи, блистанье гниения!

Танец змеи

Как эта женственная кожа
В смуглых отливах
На матовый муар похожа
Для глаз пытливых!

Я в запахе прически душной
Чую жемчужный
Приморский берег, бриз воздушный
В гавани южной.

И расстанусь с моей печалью
В томленье странном
И, словно парусник, отчалю
К далеким странам.

В твоих глазах ни тени чувства,
Ни тьмы, ни света, —
Лишь ювелирное искусство,
Блеск самоцвета.

Ты, как змея, качнула станом,
Зла и бездушна,
И вьешься в танце непрерывном,
Жезлу послушна.

И эта детская головка
В кудрях склоненных
Лишь балансирует неловко,
Словно слоненок.

А тело тянется, как будто,
В тумане рея,
Шаланда в зыбь недвижимой бухты
Роняет реи.

Не половодье нарастает,
Льды раздвигает, —
То зубы белые блистают,
Слюна сбегает.

Какой напиток в терпкой пене
Я залпом выпью,
Какие звезды упоенья
В туман просыплю!

Кот

1

В мозгу моем гуляет важно
Красивый, кроткий, сильный кот
И, торжествуя свой приход,
Мурлычет нежно и протяжно.

Сначала песня чуть слышна, —
В басовых тихих переливах,
Нетерпеливых и ворчливых,
Почти загадочна она.

И вот она струит веселье
В глубины помыслов моих,
Похожа на певучий стих,
На опьяняющее зелье.

Смиряет злость мою сперва
И чувство оживляет сразу.
Чтобы сказать любую фразу,
Коту не надобны слова.

Он не царапает, не мучит
Тревожных струн моей души
И только царственно в тиши
Меня, как скрипку, петь научит,

Чтобы звучала скрипка в лад
С твоею песенкой целебной,
Кот серафический, волшебный,
С гармонией твоих рулад!

Двухцветной шкурки запах сладкий
В тот вечер я вдохнул слегка,
Когда ласкал того зверька
Один лишь раз, и то украдкой.

Домашний дух иль божество,
Всех судит этот идол вещей,
И кажется, что наши вещи —
Хозяйство личное его.

Его зрачков огонь зеленый
Моим сознанием овладел.
Я отвернуться захотел,
Но замечаю удивленно,

Что сам во внутрь себя глядел,
Что в пристальности глаз зеркальных,
Опаловых и вертикальных,
Читаю собственный удел.

Непоправимое

1

Мысль, Форма, Существо, жестоко
На землю рухнув с небеси,
Утонут в стиксовой грязи,
Куда ни глянет божье око.

Неосторожный ангел был
Одной безобразности предан,
И, очарован смутным бредом,
Себя отвагой он сгубил.

Напрасно он руками машет, —
Стремительный водоворот
Неумолимо верх берет
И бешено поет и пляшет;

Страдалец темной силой сжат
И, очутившись без оплота,
Стремится выйти из болота,
Где гады гнусные лежат;

Но, осужденный и безвестный,
Он только в темень заглянул
И запах пропасти вдохнул,
И рухнул с лестницы отвесной.

Он видит бельма желтых глаз,
Фосфоресцирующих слизней,
И оттого загадка жизни
Еще темней заволочлась.

Корабль в засаде мглы полярной, —
Под утро льды его затрут, —
Какой же выбрал он маршрут,
Кем он обманут был коварно?

— Вот он, неумолимый знак,
Уведомляющий, что Дьявол
Работу безупречно справил, —
По этой части он мастак!

2

Лицом к лицу с врагом зловещим,
Друг другу зеркалом служа,
Мы встретились у рубежа,
А больше нам остаться не с чем.

Маяк иронии во мгле,
Чадающий факел, милость ада,
Одна бесславная услада:
— Самосознание во Зле!

Часы

Часы! Божество их бесстрастно в решение,
Беззвучно и мрачно поет: НЕ ЗАБУДЬ!
Окончатся муки твои где-нибудь
И в сердце прицелятся вместо мишени.

Сильфида не выпорхнет из-за кулис,
Где радость скрывается ежесекундно.
Секунды сочатся и сыплются скудно,
И все они в прошлое прочно влились.

Малейшая шестидесятая долька
Зудит: НЕ ЗАБУДЬ! голоском комара, —
Я было Сегодня и стало Вчера,
Но мой хоботок уже высосал столько.

Стальная пружина, завязтый лингвист
Вопит: ESTO. MEMOR! REMEMBER! ЗАПОМНИ!
Распутник! Ты слышишь приказ вероломный?
Плати — не плати, а в черед становись!

А Время — не шулер, играет на совесть,
Не надо ему никаких козырей.
А ночи все дольше, а дни все быстреей.
А вот уже кончилась скучная повесть.

Божественный случай и сам набредет.
Останется Доблесть вдовой новобрачной.
Раскаянье встретит в гостинице мрачной.
И рано иль поздно, а Поздно придет.

Рыжей нищенке

Девчонка рыжая! Твое
Прелестно рваное тряпье,
Оно открыло нищету —
И красоту.

Я жалок и клянусь тебе,
Что к этой юной худобе
Веснушек ярких пестрота
Льнет неспроста.

Ты в деревянных башмаках
Изящней, чем на каблуках
Влачат актрисы, осмелев,
Шлейф королев.

Взамен юбочки как бы шел
Тебе добротный, плотный шелк,
Шуршащих складок водопад
До самых пят!

Сквозь дыры нитяных чулок
Не смуглый жар повес привлек,
То зайчик солнца задрожал,
Словно кинжал.

Косынка сбита как на грех,
Но разве грех, что из прорех
Приоткрывается чуть-чуть
Такая грудь!

Раздеть красотку не пустяк!
Пускай попробует простак —
Ан на щеке и вспыхнет вдруг
След ловких рук!

Померкнул жемчуг как на зло,
Не сочинил стихов Белло,
Придворные смущались лишь, —
Так ты шалишь.

Бывало, пылкий рифмоплет
Следил сквозь лестничный пролет
За твоим узким башмачком —
И лег ничком.

Бывало, бедный паж краснел,
Старик Ронсар и тот не смел
Вести двусмысленную речь —
Тебя завлечь.

Ни блеск дворцовый, ни почет
Тебя не манит, не влечет.
Да и живешь ты веселей
Французских королей.

Меж тем ты нищенски живешь,
А может, и обедков ждешь,
Когда кабатчик в злую ночь
Не гонит прочь.

Или тайком косишься на
Колечко — грош ему цена,
Да мой карман в иные дни
Пуст, — извини!

Ступай же и на этот раз
Без украшений, без прикрас,
Ступай, гуляй, голь-нагота,
О красота!

Семь стариков

Виктору Гюго

Столица старая кишит ненастным бредом.
Он и средь бела дня к прохожим пристаёт,
Бредет по улицам, ползет за нами следом,
В каналах зыблется, мерцает и гниет.

Над крышами домов, над их грядюю тусклой
Туман наращивает кверху этажи,
Как берега реки, чье вздувшееся русло —
Лишь декорация для гибнущей души.

Продрогший, взвинченный, я безрассудно шел там,
На собственную жизнь давно ожесточась,
И спорил сам с собой в тумане грязно-желтом
Под грохот грузных фур, в передрагсветный час.

Внезапно из дождя, во всем дождю подобен,
В лохмотьях нищенских старик прорезал мглу.
Казалось, взгляд его был откровенно злобен,
Но все же милостыни ждал он на углу.

Потухшие зрачки застлало желчью лютой.
Он весь заиндевел, и сжался, и дрожал.
Кривая борода, иудина как будто,
Торчала жесткая, как маленький кинжал.

Не согнут, не согбен, но сломан. Позвоночник
К трясущимся ногам лег под прямым углом.
Все было мерзостно в его шагах неточных.
Казалось, что ко мне сквозь время напролом

Трехпалый этот зверь переползает щель.
Казалось, Вечный Жид перешагнул века,
Не равнодушен к нам, скорее уж враждебен,
И давит мертвецов остатком башмака.

За ним проследовал двойник. Какое сходство!
Отребья, палка, взгляд, кривая борода...
Какое колдовство — два вычурных уродства
Шли ниоткуда, чтоб исчезнуть в никуда!

В какой же заговор нечистый был я впутан,
Какой случайностью унижен и сражен?
Я сосчитал семь раз — и снова тут как тут он,
Столетний оборотень — снова тот же он!

Кто рассмеется над боязнью и тревогой,
Кто братски не поделит дрожь мою со мной?
Кто не почувствует, что в немощи убогой
Все семеро пришли из дали вековой?

А если бы еще дождался я восьмого,
Необратимого, как время, близнеца,
Который сам себя воспроизвел бы снова
И вылупился бы как феникс из яйца?

Как пьяница, в глазах которого двоится,
Вернулся я домой и запер дверь ключом,
Озябший до костей, в припадке огневицы,
Шепча бессмыслицу бог ведает о чем..

Рассудок не искал разгадки и причины.
Все тщетно. С толку сбил меня осенний вихрь.
И прыгала душа по прихоти пучины,
Как ветхий парусник на волнах штормовых.

Старушонки

Виктору Гюго

1

В старинных городах, в кривых ущельях грязи,
Сквозь ужас красота проглянет, чуть жива.
Я шел по их следам. В самом их безобразье
Очаровательны смешные существа.

Горбуны хроменькие женщинами были,
И ветренность Лаис не выветрилась в них —
В залатанных шелках, в налете ветхой пыли,
В юбочках вязаных, поношенных, дрянных...

А все карабкаются! Ветер злобно хлещет.
Внезапно — дилижанс и давка на углу...

Бедняжка мечется, сторонится, трепещет,
Прижала ридикюль и прячется во мглу.

И все ползут они, как раненые звери,
Смешные куколки, силком гонимы в пляс, —
Не Демон ли вверху, в жестоком недоверье,
Встряхнув бубенчики, их гонит, распалась!

Но кем бы ни были — в глазах неомраченных
Блестит божественное, детское у всех:
Такие же глаза у озорных девчонок,
И любопытство в них, и беспричинный смех.

Не кажется ли вам, — гроба старушек часто
Бывают не длинней, чем гробики детей?
Смерть любознательна, умела и глазаста,
Мила причуда ей, по нраву странность ей.

Когда бы в городе старушек я ни встретил,
Мне кажется порой, — то призраки бредут,
И шаг их наугад, и взгляд незрячий светел,
Но колыбель себе их тени обретут.

И, на глазок сравнив размеры душ бесплотных,
Я не догадывался произвести расчет:
Как сделает гроба мастеровитый плотник,
Каким он способом зарубки насечет.

Глаза — луженые, остуженные тигли,
Колодцы горьких слез, не текших никогда.
Загадку этих глаз немногие постигли,
А выкормила их такая же беда!

2

Ту жрицу Талии, в кордебалете старом
По имени — увы! — один суфлер и знал.
Когда-то Тиволи любил ее недаром,
Ей аплодировал, бросал цветы ей зал.

Иные хрупкие создания мне открыли,
Что в муках радость есть. Их жребий был таков:
Самоотверженности жертвенные крылья
Вносили женщин тех превыше облаков.

Одна изгнанницей по Франции томилась,
Другая прочь ушла от мужа-старика,
Погиб у третьей сын — и в том Пречистой милость...
За каждой — горьких слез бездонная река.

3

И вот одна из них мне памятна навеки!
В тот смутный час, когда закатные снопы
Кровавят облачные, пламенные реки, —
На каменной скамье, в сторонке от толпы

Сидит поклонница военного оркестра,
Впивает жадно марш солдатчины былой,
А в сердце горожан история воскресла,
Быль героическая тлеет под золой.

Старуха выпрямилась гордо по уставу.
Блаженно внемлющая грохоту литавр,
Как дальнзоркая орлица. И по праву
Над мраморным челом мерещится мне лавр!

Так проходите же, безропотны и глухи,
 Сквозь хаос городской, сквозь сумерки и тьмы,
 Вы, вдовы, матери, святые или шлюхи!
 Как ваши имена когда-то чтили мы!

Вы были чьей-нибудь и прелестью и славой.
 Никто не помнит вас. Невежа, пьяный вдрызг,
 Пристанет походя с ухмылкой слюнявой,
 Мальчишка свистнет вслед или поднимет визг.

Как будто долгого стыдась существованья,
 Пугливые, к стене прижались вы спиной,
 Не узнаны никем, лишённые призванья,
 Как бы созревшие для вечности одной!

А я — признаться ли? — я непременно буду
 В тревожной радости вас ждать исподтишка.
 Я стал для вас отцом и, благодарный чуду,
 За вами следую, отстав на три шага.

Я вижу весь расцвет влюблений ваших прежних,
 Всю прелесть юных дней — о как она светла! —
 Всем сердцем расщеплен в поступках ваших грешных,
 Всей вашей доблестью испепелен дотла!

Развалины семьи! Я кровный ваш наследник.
 Вечерний мой поклон по-прежнему глубок.
 Где завтра встречу вас, восьмидесятилетних?
 В чье же плечо вдавил свой коготь страшный бог?

К прошедшей мимо

Оглушительно улица выла, когда
Эта юная женщина в трауре полном
Подняла край вуали движеньем безмолвным
И прошла, словно статуя, странно горда.

Только стройные ноги мелькнули мгновенно.
Но я пил в этом взоре, как пьяница пьет,
Наслажденье, которое тут же убьет,
Наважденье, которое самозабвенно.

Проблеск молнии... Ночь! Лишь на миг красотой
Воскрешен и отравлен! Но миг этот прожит.
Только в вечности я прикажу тебе: Стой!

Впрочем, так далеко! Да и поздно, быть может!
У меня нет примет — от тебя и следа.
Как тебя я любил бы, — ты знала тогда?!

Скелет-землероб

1

Вдоль Сены, там, где книжный рынок,
Среди бумажных мумий ты
Заметишь рваные листы
Анатомических картинок.

Давно таблицы стерлись там,
Но, кажется, художник ветхий
Подправил их иглою меткой,
Придал красоту их чертам.

И, чтобы таинство за гробом
Возможно явственной открыть,
Он предоставил землю рыть
Лишенным кожи землеробам.

2

Что ты вспахало, мужичье,
Зачем к работе вновь стремишься?
Тряся костями, напряжив мышцы,
В ярмо впрягаешься свое?

Для жатвы странной и безумной,
Рабы, восстав из-под земли,
Какому фермеру пришли
Вы до краев засыпать гумна?

Иль это значит (видит бог,
Эмблемы не найдешь свирепей),
Что на погосте или в склепе
Могильный сон не так глубок?

Или Ничто — предатель скверный,
И смерть обманывает нас,
И, к бесконечности стремясь,
Еще придется нам, наверно,

Покинуть кладбища свои,
Для земляных работ проснуться
И грубых заступов коснуться
Ногой в запекшейся крови?..

Вечерние сумерки

Прелестный вечерок, сообщник всех убийц,
Явился, крадучись по-волчьи. Заклубись,
Вечерняя заря, и нависай альковым!
Твой хищник распален, разнuzдан и раскован.
Приятный вечерок, желательный для всех.
Чьи руки не солгут, сказав про свой успех:
«Мы поработали на славу!» Будь же сладок,
Пережитых забот мучительный осадок,
И для мыслителя, смотрящего во мглу,
И для рабочего, что прикорнул в углу!

А вот и демоны вторгаются в наш климат.
Похожи на дельцов, они стыда не имеют
И хлещут на лету по ставням и дверям.
Вот проституция готовится и впрямь
Навстречу фонарям разжечь свои приманки
И муравейник свой показывать с изнанки,
Тайком прокладывает в переулках путь,
Предательский удар дает кому-нибудь,
И в центре города любую грязь шурует,
Кишит, червивая, еду у нас ворует.

Прислушайся! Сейчас жаровни зашипят,
Театры запоют, оркестры завопят.
Вкруг общего стола расселись в сладкой дрожи
Мерзавцы похитрей и шлюхи подороже.
Воришки мелкие, не знающие сна,
Уже наметили — им тоже цель ясна —
Решетки крепких касс, замки церковных кружек,
Чтоб закусить сытней и разрядить подружек.

Замкнись, душа моя! Твой наступает час.
Так не прислушивайся к ним, ожесточась!
Возобновляются мученья всех агоний.
Глухая ночь берет за глотку их в погоне.
А там в могильных рвах костей и не найдут.
Последних вдохов ждет больница. Не придут
Они к себе домой и под огнем зажженным
Не сядут ужинать, не улыбнутся женам.

Но слишком многие и не бывали вблизи
Домашних очагов — к земле не прижились.

Игра

На креслах, на шелку истрепанных подушек
Ждут шлюхи крашенные, бровки подведа.
Они жеманятся, с их отощавших ушек
Сережки падают дробинками дождя.

Зеленые столы, бессмысленные лица,
Бесцветные глаза, беззубых ртов оскал.
Лишь пальчик трепетный украдкой шевелится,
Пустую грудь, пустой кармашек отыскал.

Нависший потолок от грязи фиолетов.
От грузных канделябр и некрасивых ламп
Ложится тень на лбы прославленных поэтов,
Давно растративших рыдающий свой ямб.

Я вижу, как сквозь сон, всю черную картину
Так зорко, пристально, такой тоской томим,
Что сам проваливаюсь в гнилостную тину,
Озябший и глухой, завидующий и м , —

Да, я завидую всем страстью одержимым,
И шлюхам и хлыщам, что вечно на посту,
Что тычут мне в лицо с наигранным нажимом,
Один — былую честь, другая — красоту!

Но отвратительна мне зависть к этим нищим,
Что к бездне подошли, и ринулись назад,
И спьяну предпочли, теснясь перед кладбищем,
Небытию — печаль, уничтоженью — ад!

Пляска смерти

Похожа на живых осанкой безупречной,
С растрепанным букетом, в лайке до локтей,
Она любезничает в обществе беспечно,
Ей светскость нравится, к лицу игривость ей.

Чей стан девический с такой осой сравнится?
Чья роба пышная, чей переливный шелк
Вдоль бедер царственной спадает и струится
И к узким туфелькам надменной снизошел?

На уровне ключиц в трепещущих оборках
Зазыбился батист, подобно ручейку,
Двусмысленно прикрыв от ухажеров зорких
Соблазны мертвенные, — дама на чеку!

Гнездятся сумерки в пустотах лобных скважин,
А череп в кудельках прически завитой
Лениво вертится, на позвонки по сажена, —
Так нас прельщает Смерть беспечной красотой.

Иные назовут тебя карикатурой.
Иной бесчувственный, во цвете сил и лет,
Влюблен в живую плоть, сожительствоет с дурой.
А я в твоих сетях, загадочный скелет!

Пришла ли ты смутить наш развеселый праздник
Гримаской ужаса под маскою шута?
Иль самое тебя прищпорила и дразнит
Распутных шабашей ночная суета?

Иль стон скрипичных струн и наших оргий свечи
Рассеяли твоих кошмаров забытье
И наши шуточки, забавы человечьи,
Развеселили ад, прибежище твое?

Вот глупости людской невычерпанный кладезь,
Вот змеевидный куб, — в нем самогон страстей!
Но тень твоя сквозит, прозрачнеет, разглядясь:
Я вижу сквозь тебя, как алчен этот змей.

По чести, я боюсь, что ты напрасно тратишь
Так много женских чар на смертные сердца, —
Своими шутками лишь страхом их охватишь,
Но мужественного не обретешь борца!

В глубинах глаз твоих такие мысли реют,
Так кружит головы зиянье их тоски,
Что наши плясуны опасно хиреют,
Едва ослабила ты желтые клыки.

Меж тем, кто не сжимал тебя хоть раз в объятьях,
Кто не заглядывал в кладбищенскую тьму,
Какая надобность в духах, прическах, платьях?..
Самоуверенность брезглива ко всему.

Встань, баядерка, в рост, безногая, лихая,
Всю правду выскажи, смуги наш хоровод:
— Малютки! С ваших лиц я пудру отряхаю,
Я рядом, господа! Вы слышите? Так вот —

Подонки и хлыщи, отбросы крутоверти,
Как вы, мышинные жеребчики, стары!
Вселенская раскачка, свистопляска смерти
Всех потащила вас — айда в тартарары!

От холода на Сене до жары на Ганге
Бредут, не замечают смертные стада,
Что купол продырявлен, что трубит Архангел
Зловещую побудку Страшного суда.

На всех широтах Смерть от века обожает,
Чтоб люди корчились безумней и лютей,
И миррой душится и стан свой обряжает,
Мешая свой сарказм с отчаяньем людей!

Парижский бред

Константину Гису

1

Всем этим зрелищем ужасным,
Еще неведомым для вас,
Едва проснувшись утром ясным,
Я воскрешен и в этот раз.

Природа наших снов капризна,
Есть у нее свои права,

И вот в бреду моем был изгнан
Зеленый цвет, — цветы, трава.

Став живописцем настоящим,
Недаром я предпочитал
В однообразии пьянящем
Лишь воду, мрамор и металл.

Мой Вавилон был пуст и страшен.
В сверканье лестниц и аркад
Со ступеней высоких башен
Струился пенистый каскад.

Вода кипела и взлетала,
И разливалась, и текла.
Поверхность гладкого металла
Была бесцветнее стекла.

На водной глади, в окруженье
Не зелени, лишь колоннад,
Не женщин были отраженья,
Но сны чудовищных наяд.

Вплоть до предела мироздания
Вдоль набережных синих вод
Зелено-розовые зданья
Закрыли плотно небосвод.

Лишь скал, доселе небывалых,
Немая высилась гряда,
Лишь в ослепительных овалах
Посверкивали глыбы льда.

И, безрассудны и безбурны,
Все Ганги сказочной страны
Свои опорожняли урны
В жерло алмазной быстрины.

Так, счастье зодчества отведав,
Нездешней волей обуян,
Я в подземелье самоцветов
Мятежный запер океан.

Все краски, вплоть до черной сажи,
Сливались радужной дугой
В отполированном пейзаже,
На тверди гладкой и нагой.

Ни звезд, ни солнца — но повсюду,
Куда ни глянь, своим огнем
Заполыхало это чудо,
И мысль моя царила в нем.

В том молчаливом озаренье
Одна страшила новизна,
Что не для слуха, лишь для зренья
Такая вечность создана.

2

Открыв глаза, я вижу ужас
Своей каморки без прикрас,
И, постепенно обнаружась,
Меня он заново потряс.

Часы на голос погребальный
Пробили вновь двенадцать раз,
И небо хмурилось печально,
С оцепенением не борясь,

Полночь допрашивает

Часы, в полуночи звоня,
Допрашивают нас со смехом,
Каким довольны мы успехом
В итоге прожитого дня:
— Как предназначено, сегодня,
Тринадцатого в среду мы,
Лишив познания умы,
Не слыша голоса господня,

Христа отвергли наотрез
И отказались от причастья.
Но, как нахлебников, по счастью,
Нас пригласил к обеду Крез.
При этом скотском угощенье
Мы Сатане служили вновь,
Унизили свою любовь
И одолели отвращенье.

Мы прославляли палача
И умилялись, не потупясь,
Когда чудовищная тупость
Блаженствовала, хохоча,
И спины набожно склонили,
И лобызали бренный прах,
И на полуночных пирах
Вдыхали плотный запах гнили.

И, сияясь в страсти утопить
Шальное головокруженье,
Мы испытали наслажденье
Без вкуса есть, без жажды пить.

Мы — жрец Поэзии! Однако
Ведет к могиле славный путь.
Скорей бы лампу нам задуть —
И с головой в пучину мрака!

Жалобы Икара

Наверно, у продажных женщин
Пресыщен счастьем каждый друг, —
А я ломаю плети рук,
С бесплотным призраком повенчан.

Непоправимая беда!
Мне свет созвездий отдаленных
Затмил в глазах испепеленных
Земное солнце навсегда.

Пространство было так широко,
Что я предела не открыл,
И воск моих ничтожных крыл
Расплавился в огне до срока.

Отвергнут жгучей красотой,
Я неопознанный исчезну,
И назовут одну лишь бездну
Моей могильною плитой.

Артур Рембо

(1854—1891)

Бал повешенных

На черных виселичных балках
Висят лихие плясуны.
Кривляясь в судорогах жалких,
Танцуют слуги Сатаны.

Как дернет Вельзевул их за ворот и, шлепнув
Поношенной туфлей по харям и едва
Совсем не оборвав, как пустит их, притопнув,
Плясать, плясать под звон седого рождества!

И лбами чокаются тощие. И в лязге
Шарманочном трещат их ребра, загудев.
Сшибаясь грудью в грудь, трясутся в гнусной ласке,
Вполне приемлемой для полногрудых дев.

Ура! Сигают вверх! Просторно в балагане,
Легко весельчакам без мышц и животов!
Бой это или бал, но в диком содроганье
Сам Вельзевул смычком пиликать им готов.

Их пятки жесткие без туфель обойдутся.
С них кожа содрана, лишь кое-где клочки,
Не зная срамоты, болтаются и бьются,
Да на головы снег наляпал колпачки.

Да ворон встрепанный, на черепе торчащий,
Да мясо вместо щек свисает бахромой.
Ты скажешь, вкрученный в их призрачную чашу,
Что это рыцарей в картонных латах бой.

Ура! Вопит метель, на пары расколов их.
Проклятые столбы качаются мыча.
И слышен волчий вой из тьмы лесов лиловых,
И горизонт, как ад, краснее кумача.

Пусть оборвутся вниз молодчики! Довольно
Им четки позвонков перебирать, молясь!
Тут им не монастырь с божбою колокольной,
Не отпевают их, но приглашают в пляс!

Но вот из толчеи, раздвинув пляску смерти,
Верзила-сумасброд не рассчитал прыжка,
Встал на дыбы, как конь, и головою вертит,
Как будто чувствует, что шею жжет пенька,

Кричит, — не разберешь, смеется или плачет,
В разбитое бедро две пятерни впились.
Но общий кавардак опять верзилу прячет,
Костями лязгает и скачет вверх и вниз.

На черных виселичных балках
Висят лихие плясуны.
Кривляясь в судорогах жалких,
Танцуют слуги Сатаны.

Моя цыганщина

Я брел, засунув руки в дырявые карманы,
И бредил про любое дрянное пальтецо,
Я брел под небом, Муза, глядел тебе в лицо
И — о-ля-ля! — влюблялся в блестящие туманы.

Последняя штанина, истлевшая до дыр.
Последний мальчик-с-пальчик стихи рифмует скверно.
Казалась мне Большая Медведица таверной.
Со мною в ясном небе шептался звездный клир.

Я слушал звездный шепот на придорожном камне,
Сентябрьский тихий вечер мерцал издали мне
И каждую росинкой в меня отвягу лил.

Весь этот мир волшебный рифмуя понемногу,
Из башмака худого вытягивал я ногу
И грешными мозгами лениво шевелил.

Кузнец

Тюильри, 10 августа 1791 года

I

Он мощно оперся на молот. Он для всех
Был страшен. Как труба, пронесся ярый смех
Гиганта пьяного и над Парижем замер.
Он смерил толстяка свирепыми глазами,
Кузнец — Людовика Шестнадцатого, в час,
Когда, лохмотьями кровавыми влачась,
Народная толпа шумела. Перед нею

Людовик выпятил большой живот, бледнея,
С поличным пойманный и чующий петлю.
Но нечего сказать собаке-королю!
Да, ибо эта рвань, кузнец широкоплечий,
И не обдумывал своей простецкой речи,
Но слово било в лоб любого короля.

— Ты вспоминаешь, сир? Мы пели «тру-ля-ля»,
Хлестали мы быков на всех господских нивах
Под вечный «Отче наш» каноников ленивых,
На четки вяжущих монеты, сколько дашь.
Бывало, в хриплый рог сеньор затрубит наш,
Мчась на лихом коне. А мы, смиренно горбясь,
Кто с палкой, кто с бичом, не поддавались скорби,
Тупые, как в о л ы, — мы шли, и шли, и шли...
И, обработав так кусок чужой земли,
Отдавши в черные распаханые глыбы
Свой пот и кровь свою, мы есть и пить могли бы
Но жгли вы по ночам лачуги у дорог,
И наши дети шли начинкой в ваш пирог.

О, я не жалуясь! Я речью пустяковой
Тебе не надоем. Но выслушай толково.
Ведь весело смотреть в июльский зной, когда
Бредут на сеновал пахучих фур стада
Огромные. Вдыхать таинственное лоно
Примятой ливнями травы слегка паленой!
А там поля, поля... И это верный знак,
Что созревает хлеб, что колосится злак.
А кто сильнее, тот у наковальни встанет
И, молотом звеня, лихую песнь затянет.
Он все же человек, который жив-здоров
И кое-что урвал от божеских даров!
Но тянет лямку он все ту, а не другую...

Я знаю все теперь. И спрашивать могу я:
Зачем же руки есть и молот у меня?
Чтоб, шпагой под плащом сиятельным звеня,
Любой приказывал — возделай землю, парень?
И если будет мир опять войной ошпарен,
Чтобы сынишка мой пошел, куда ведут?
Я человек, а ты король. И скажешь тут:
«Я так хочу!» Пойми: что может быть нелепей!
Ты думал, мне милы твои великолепья,
Лакеи пышные, павлины на пирах
И тысячи пройдох, одетых в пух и прах!
Они в твою нору тащили наших дочек,
А нас — в Бастилию без дальних проволок,
А мы-то клячили: смиряйтесь, бедняки!
Мы золотили Лувр, копили медяки,
Чтоб ели досыта господчики и дамы,
Нам на головы сев роскошными задами!

Нет! С мерзкой стариной произведен расчет!
Народ — не стая шлюх. Не прихоть нас влечет
Срыть и развеять прах Бастилии в мгновенье.
Там каждый камень был кровавым откровеньем
И нам нашептывал, крошась в глухой стене,
Свой отвратительный рассказ о старине.
Довольно бестия-Бастилия торчала!
Слышал ты, гражданин, как прошлое рычало
И выло в рушенье бойниц ее тогда?
Была во всех сердцах одна лишь страсть тверда.
Мы крепко сыновей к своей груди прижали.
Мы, словно лошади храпящие, бежали!
И сердце прыгало меж ребер горячо.
Мы шли в июльский зной, сомкнув к плечу плечо,
В Париж! Мы вырвались из собственных отребий,

Став наконец людьми! И, чуя грозный жребий,
Как мы бледнели, сир, надеждой опьянев!
Но, очутившись там, мы позабыли гнев.
Вся буря наших пик, ножей, сигнальных горнов
Как бы сошла на нет при виде башен черных,
Почуяв мощь свою и кротости ища.

И будто с той поры сошла с ума, торча
На этих улицах, ремесленников стая!
Уйдут одни, — и вновь бушует, вырастая,
У окон богачей угрюмая орда.
Я тоже среди них — любуйтесь, господа!
Так я вошел в Париж, поднявши молот страшный,
Чтоб сразу вымести отсюда сор вчерашний.
Посмей лишь, усмехнись, — я размозжу тебя!
Но ты не трусь, король! Ты можешь, беребя
Своих чернильных крыс, отбиться от прошений,
Послав их, словно мяч, к любой другой мишени
(Пусть шепчут жулики: «Что? Взяли, дураки?»)
Ты можешь мастерить декреты, что сладки
Иль пахнут розовой слабительной настойкой,
Смягчить все трудности, и баловаться бойко,
И даже нос зажать, когда проходим мы
(Для наших выборных мы стали злей чумы!)
Не бойся ничего, — одних штыков... Отлично!
Черт бы их взял во всей их мишуре столичной!
Довольно, хватит с нас приплюснутых мозгов
И барабанных брюх! Довольно пирогов
Ты пек нам, буржуа, когда мы стервенели,
Кресты и скипетры ломая на панели!

II

Он за руку схватил Капета и сорвал
Оконный занавес. А там народный вал
Гремел, могучими раскатами бушуя.
Он показал толпу, до ужаса большую,
И вой голодных сук, и вой соленых волн,
И весь широкий двор, что был, как рынок, полн
Божбой, и звоном пик, и барабанным треском.
Лохмотья, колпаки фригийские в их резком
Изменчивом строю — все увидал в окне
Людовик, и потел, бледнел как полотно,
И заболел почти.

— Смотри на сволочь нашу!

Как на стены плюет, как воеет, сбившись в кашу!
Им не на что поесть. Все это нищий сброд.
Вот я кузнец. А там жена моя орет,
Хотела в Тюильри добиться хлеба, дура!
Но пекаря на нас посматривали хмуρο.
Есть дети у меня. Я сволочь.

Вот еще

Старухи в чепчиках, что плачут горячо,
Теряя дочерей, прощаясь с сыновьями.
Все это сволочь!

Вот прошедший годы в яме
Бастилии. Другой был каторжником. Но
Они честнее нас... На воле суждено
Бродить им, будто псам. Клеймо еще не стерто:
Позор не кончился. Так для какого черта
Им жить, как проклятым, и среди той шпаны
Реветь тебе в лицо: они осуждены!
Все это сволочи!

Там девушки. Не счесть их!
Ведь вы же мастера в девических бесчестьях!

Вам, знать придворная, сходила с рук игра!
Плевали в душу им, как на землю вчера.
Красотки ваши там. И это сволочь тоже!

Да! Все несчастные, согбенные, чья кожа
На солнце с о ж ж е н а, — они идут, идут,
И надрываются, и продолжают труд.
Прочь шляпы, буржуа, и поклонитесь людям!
Да, мы рабочие. Рабочие! Мы будем
Господствовать, когда наступит новый век,
И с утра до ночи кующий Человек,
Великий следопыт причин и следствий, встанет.
Он вещи укротит, и повода подтянет,
И оседлает Мир, как своего коня.
О слава кузнецов, могучий сноп огня!
Все неизвестное страшит. Не надо страха!
Поднявши молоты, мы вырвем жизнь из праха,
Просеем шлак и пыль! Вставайте, братья! В путь!
Она приснится нам, придет когда-нибудь
Простая эта жизнь, в горячих каплях пота,
Без злобной р у г а н и, — улыбка и забота
Суровой женщины, любимой навсегда.
И, отдавая дни для гордого труда,
Встав, как на трубный звук, на повеленье долга,
Мы будем счастливы. Да, счастливы! И долго
Никто, никто, никто нас не согнет в дугу.
Ружье прислонено недаром к очагу!

Но пахнет в воздухе нешуточною дракой!
Что я наплел? Я рвань, несомая клоакой.
Остались сыщики и спекулянты в ней!
Свобода вырвана. Но и она прочней,
Пока царит Террор. Я говорил недавно
О кротких временах и о работе славной.

Взгляни-ка на небо! Нам мало всех границ!
Нас разрывает гнев, но мы простерты ниц.
Смотри же на небо!

А я пойду обратно
В великую толпу, что выкатила знатно
Твои мортиры, сир, по мостовой влачась.
Мы кровью вымоем ее в последний час.
Когда раздастся гул последней нашей мести
И лапы королей протянутся все вместе,
Чтоб заварить в полках парадов кутерьму,
Вы нас пошлете вновь — к собачьему дерьму!..

III

Он поднял на плечи свой молот.

Ликовала
Пред кузнецом толпа, насытась до отвала,
И весь широкий двор, все гребни старых крыш,
Весь задыхавшийся и воющий Париж,
Всю эту чернь потряс один озноб и рокот.
Тогда кузнец взмахнул своей рукой широкой —
Так, что вспотел король пузатый, — и вот так
Швырнул ему в лицо багровый свой колпак.

Французы пятидесятого года, бонапарти-
сты-республиканцы! Вспомните о своих
отцах в девяносто втором году.

Поль де Касаньяк

Вы, храбрые бойцы, вы, в девяносто третьем
Бледневшие от ласк свободы огневой,
Шагавшие в сабо по рухнувшим столетьям,
По сбитым кандалам неволи вековой,

Вы, дравшиеся в кровь, отмщая друг за друга,
Четырнадцать держав встречавшие в упор,
Вы, мертвые, чья Смерть, как честная подруга,
Все наши пахоты плодотворит с тех пор,

Огнем омывшие позор величий низких
Там, в дюнах Бельгии, на холмах италийских,
Вы, не смыкавшие горящих юных г л а з , —

Почийте же, когда Республика почила.
Так нас империя дубинкой научила.
А Касаньяки вновь напомнили про вас.

Зло

Меж тем как рыжая харкотина орудий
Вновь низвергается с бездонной вышины,
И роты и полки в зелено-красной груди
Пред наглым королем вповалку сожжены,

И сумасшествие, увеча и ломая,
Толчет без устали сто тысяч душ людских, —
О бедные, — для них нет ни зари, ни мая,
О, как заботливо выращивали их!

Есть бог, хохочущий над службой исполинской
Хоругвей, алтарей, кадилниц и кропил,
Его и хор осанн давно уж усыпил.

И вот разбужен бог тревогой материнской.
Она издалека пришла к нему в тоске
И медный грош кладет, завязанный в платке.

Ярость кесаря

Невзрачный господин меж цветников гуляет.
Он в черном сюртуке, с сигарою во рту.
Порою тусклый взгляд веселость оживляет, —
Быть может, Тюильри припомнил он в цвету.

Да, император пьян вином двадцатилетним.
Свободу некогда задуть он повелел
Тихонько, как свечу. По сведеньям последним,
Свобода здравствует, а кесарь заболел.

Он взят врасплох. Постой! Жестоко лихорадя,
Чье имя, чей упрек монарший мозг язвит?
Не разберешь. Мертвец обычный принял вид.

Проходит перед ним с подозрной трубкой дядя.
Он смотрит, как плывет сигарный дым во мглу,
Подобно облачку вечернему в Сен-Клу.

Блестящая победа в Саарбрюккене, одержанная под крики «Да здравствует Император!»

Здесь желто-голубой разлив апофеозов.
Здесь император наш взнуздal себе конька
Ретивого. Он рад, что мир, как прежде, розов.
Он грозен, как Зевес, и тих, как папенька.

Солдатики меж тем, кончая перекурку,
Учтиво строятся под барабанный гром.
Из пушек бьет огонь. Питу оправил куртку
И воззрился на лик монарший за бугром.

Направо Дюмане с осанкой горделивой
Оперся на приклад и, встряхивая гривой,
Кричит: «Да здравствует!..» Сосед хранит покой.

Как солнце черное, сверкает кивер. Рядом
Наивный лесоруб к ним повернулся задом
И благодушно ждет ответа: «А на кой?..»

Спящий в ложбине

Беспечно плещется речушка, и цепляет
Прибрежную траву, и рваным серебром
Трепещет, а над ней полдневный зной пылает,
И блеском пенится ложбина за бугром.

Молоденький солдат с открытым ртом, без кепи,
Всей головой ушел в зеленый звон весны.
Он крепко спит. Над ним белеет тучка в небе.
Как дождь, струится свет. Черты его бледны.

Озябший, крохотный, как будто бы спросонок
Чуть улыбается хворающий ребенок.
Природа, приголубь солдата, не буди!

Не слышит запахов, и глаз не поднимает,
И в локте согнутой рукою зажимает
Две красные дыры меж ребер на груди.

Воронье

Господь! Когда зима, бушуя,
Гуляет в мертвых деревьях
И «ангелюс» поет монах,
Скликай всю армию большую
Любезных воронов своих
На черноту полей нагих!

А ты, отчаянная стая,
Чьи гнезда завтра скроет снег,
Носись вдоль пожелтевших рек,
Мчись, над погостами взлетая,
Над рвами черными пророчь,
И, взвившись вверх, рассейся прочь!

По всем французским бездорожьям,
Где спят погибшие вчера
(Не правда ли, давно пора?),
Всем странникам и всем прохожим
Хоть Реквием прокаркай свой
По долгу службы вековой!

А вы, святители господни,
Верните в майские леса
Иные птичьи голоса
Во имя павших, что сегодня
Зарыты в ямины и рвы
И не воротятся, увы!

Военная песня парижан

Весна раскрылась так легко,
Так ослепительна природа,
Поскольку Тьер, Пикар и К°
Украли Собственность Народа.

Но сколько голых задниц, Май!
В зеленых пригородных чашах
Радужно жди и принимай
Поток входящих — исходящих!

От блеска сабель, киверов
И медных труб не ждешь идиллий.
Они в любой парижский ров
Горячей крови напрудили.

Мы разгулялись в первый раз,
И в наши темные трущобы
Заря втыкает желтый глаз
Без интереса и без злобы.

Тьер и Пикар... Но как старо
Коверкать солнце зеркалами
И заливать пейзаж Коро
Горячим, превращенным в пламя!

Великий Трюк, подручный ваш,
И Фавр, подперченный к обеду,
В чертополохе ждут, когда ж
Удастся праздновать победу.

В Великом Городе жара
Растет на зависть керосину.

Мы утверждаем, что пора
Свалить вас замертво в трясины.

И Деревенщина услышит,
Присев на травушку орлом,
Каким крушеньем красным пышет
Весенний этот бурелом.

Париж заселяется вновь

Зеваки, вот Париж! С вокзалов к центру согнан.
Дохнул на камни зной — опять они горят,
Бульвары людные и варварские стогна.
Вот сердце Запада, ваш христианский град!

Провозглашен отлив пожара! Все забыто.
Вот набережные, вот бульвары в голубом
Дрожанье воздуха, вот бивуаки быта..
Как их трясло вчера от наших красных бомб!

Укройте мертвые дворцы в цветочных купах!
Бывалая заря вам вымоет зрачки.
Как отупели вы, копаясь в наших т р у п а х , —
Вы, стадо рыжее, солдаты и шпики!

Принюхайтесь к вину, к весенней течке сучьей!
Игорные дома сверкают. Ешь, кради!
Весь полуночный мрак, соитьями трясуший,
Сошел на улицы. У пьяниц впереди

Есть напряженный час, когда, как истуканы,
В текучем мареве рассветного огня
Они уж ничего не выблюют в стаканы,
И только смотрят вдаль, молчание храня...

Во здравье задницы, в честь Королевы вашей!
Внимайте грохоту отрыжек и, давясь
И обжигая рот, сигайте в ночь, апаши,
Шуты и прихвостни! Парижу не до вас.

О грязные сердца! О рты невероятной
Величины! Сильней вдыхайте вонь и чад!
И вылейте на стол, что выпито, обратно, —
О победители, чьи животы бурчат!

Раскроет ноздри вам немое отвращенье,
Веревки толстых шей издергает чума...
И снова — розовым затылкам нет прощенья.
И снова я велю вам всем сойти с ума!

За то, что вы тряслись, за то, что, цепенея,
Припали к животу той Женщины, за ту
Конвульсию, что вы делить хотели с нею,
И, задушив ее, шарахались в поту!

Прочь, сифилитики, монархи и паяцы!
Парижу ли страдать от ваших древних грыж,
И вашей хилости и ваших рук бояться?
Он начисто от вас отрезан — мой Париж!

И в час, когда внизу, барахтаясь и воя,
Вы околеете, без крова, без гроша, —
Блудница красная всей грудью боевою,
Всем торсом выгнется, ликуя и круша!

Когда, любимая, ты гневно так плясала?
Когда, под чьим ножом так ослабела ты?
Когда в твоих глазах так явственно вставало
Сиянье будущей великой доброты?

О полумертвая, о город мой печальный!
Твоя тугая грудь напряжена в борьбе.
Из тысячи ворот бросает взор прощальный
Твоя История и плачет по тебе.

Но после всех обид и бед благословенных, —
О, выпей хоть глоток, чтоб не гореть в бреду!
Пусть бледные стихи текут в бескровных венах!
Позволь, я пальцами по коже проведу.

Не худо все-таки! Каким бы ни был вялым,
Дыханья твоего мой стих не прекратит.
Не омрачит сова, ширяя над обвалом,
Звезд, льющих золото в глаза кариатид.

Пускай тебя покрыл, калеча и позоря,
Насильник! И пускай на зелени живой
Ты пахнешь тлением, как злейший лепрозорий, —
Поэт благословит бессмертный воздух твой!

Ты вновь повенчана с певучим ураганом,
Прибоем юных сил ты воскресаешь, труп!
О город избранный! Как будет дорога нам
Пронзительная боль твоих заглохших труб!

Поэт подыметя, сжав руки, принимая
Гнев каторги и крик погибших в эту рань.
Он женщин высечет зеленой плетью мая.
Он скачущей строфой ошпарит мразь и дрянь.

Все на своих местах. Все общество в восторге.
Бордели старые готовы к торжеству.
И от кровавых стен, со дна охрипших оргий
Свет газовых рожков струится в синеву.

Руки Жан-Мари

Ладони этих рук простертых
Дубил тяжелый летний зной.
Они бледны, как руки мертвых,
Они сквозят голубизной.

В какой дремоте вожделений,
В каких лучах какой луны
Они привыкли к вялой лени,
К стоячим водам тишины?

В заливе с промыслом жемчужным,
На грязной фабрике сигар,
Иль на чужом базаре южном
Покрыв их варварский загар?

Иль у горячих ног мадонны
Их золотой завял цветок,
Иль это черной белладонны
Струится в них безумный сок?

Или, подобно шелкопрядам,
Сучили синий блеск они,
Иль к склянке с потаенным ядом
Склонялись в мертвенной тени?

Какой же бред околдовал их,
Какая льстила им мечта
О дальних странах небывалых
У азиатского хребта?

Нет, не на рынке апельсинном,
Не смуглые у ног божеств,
Не полоща в затоне синем
Пеленки крохотных существ;

Не у поденщицы сутулой
Такая жаркая ладонь,
Когда ей щеки жжет и скулы
Костра смолистого огонь.

Мизинцем ближнего не тронув,
Они крошат любой утес,
Они сильнее першеронов,
Жесточе поршней и колес.

Как в горнах красное железо,
Сверкает их нагая плоть
И запекает «Марсельезу»
И никогда — «Спаси, господь».

Они еще свернут вам шею,
Богачки злобные, когда,
Румянясь, пудрясь, хорошея,
Вы засмеетесь без стыда!

Сиянье этих рук влюбленных
Мальчишкам голову кружит.
Под кожей пальцев опаленных
Огонь рубиновый бежит.

Обуглив их у топок чадных,
Голодный люд их создавал.
Грязь этих пальцев беспощадных
Мятеж недавно целовал.

Безжалостное солнце мая
Заставило их побледнеть,
Когда, восстанье поднимая,
Запела пушечная медь.

О, как мы к ним прижали губы,
Как трепетали дрожью их!
И вот их сковывает грубо
Кольцо наручников стальных.

И, вздрогнув словно от удара,
Внезапно видит человек,
Что, не смывая с них загара,
Он окровавил их навек.

Пьяный корабль

Между тем как несло меня вниз по теченью,
Краснокожие кинулись к бичевщикам,
Всех раздев догола, забавлялись мишенью,
Пригвоздили их намертво к пестрым столбам.

Я остался один без матросской ватаги.
В трюме хлопок промок и затлело зерно.
Казнь окончилась. К настезь распахнутой влаге
Понесло меня дальше, куда — все равно.

Море грозно рычало, качало и мчало,
Как ребенка, всю зиму трепал меня шторм,
И сменялись полуострова без причала,
Утверждал свою волю соленый простор.

В благодетельной буре теряя рассудок,
То как пробка скача, то танцуя волчком,
Я гулял по погостам морским десять суток,
Ни с каким фонарем маяка не знаком.

Я дышал кислотою и сладостью сидра.
Сквозь гнилую обшивку сочилась волна.
Якорь сорван был, руль переломан и выдран,
Смыты с палубы синие пятна вина.

Так я плыл наугад, погруженный во время,
Упивался его многозвездной игрой
В этой однообразной и грозной поэме,
Где ныряет утопленник, праздный герой.

Лиловели на зыби горячешной пятна,
И казалось, что в медленном ритме стихий
Только жалоба горькой любви и понятна —
Крепче спирта, пространней, чем ваши стихи.

Я запомнил свечение течений глубинных,
Пляску молний, сплетенную, как решето,
Вечера — восхитительней стай голубиных,
И такое, чего не запомнил никто.

Я узнал, как в отливах таинственной меди
Меркнет день и расплавленный запад лилов,
Как, подобно развязкам античных трагедий,
Потрясает раскат океанских валов.

Снилось мне в снегопадах, лишающих зренья,
Будто море меня целовало в глаза.
Фосфорической пены цвело озаренье,
Животворная, вечная та бирюза.

И когда месяцами, тупея от гнева,
Океан атакует коралловый риф,
Я не верил, что встанет Пречистая Дева,
Звездной лаской рычанье его усмирив.

Понимаете, скольких Флорид я коснулся?
Там зрачками пантер разгорались цветы,
Ослепительной радугой мост изогнулся,
Изумрудных дождей кочевали гурты.

Я узнал, как гниет непомерная туша,
Содрогается в неводе Левиафан,
Как волна за волною вгрызается в сушу,
Как тарасит слепые белки океан.

Как блестят ледники в перламутровом полдне,
Как в заливах, в лиманной грязи, на мели
Змеи вяло свисают с ветвей преисподней
И грызут их клопы в перегнутое земли.

Покажу я забавных рыбешек ребятам,
Золотых и поющих на все голоса,
Перья пены на острове, спячкой объятom,
Соль, разъевшую виснувшие паруса.

Убаюканный морем, широты смешал я,
Перепутал два полюса в тщетной гоньбе.
Прилепились медузы к корме обветшалой.
И, как женщина, пав на колени в мольбе,

Загрязненный пометом, увязнувший в тину,
В щебетанье и шорохе маленьких крыл,
Утонувшим скитальцам, почтив их кончину,
Я свой трюм, как гостиницу на ночь, открыл.

Был я спрятан в той бухте лесистой и снова
В море выброшен крыльями мудрой грозы,
Не замечен никем с монитора шального,
Не захвачен купечеством древней Ганзы,

Лишь всклокочен, как дым, и, как воздух, непрочен,
Продырявив туманы, что мимо неслись,
Накопивший — поэтам понравится очень! —
Лишь лишайники солнца и мерзкую слизь,

Убегавший в огне электрических скатов
За морскими коньками по кипени вод,
С вечным звоном в ушах от громовых раскатов,
Когда рушился ультрамариновый свод,

Сто раз крученный-верченный насмерть в мальштреме,
Захлебнувшийся в свадебных плясках м о р е й, —
Я, прядильщик туманов, бредущий сквозь время,
О Европе тоскую, о древней моей.

Помню звездные архипелаги, но снится
Мне причал, где неистовый мечется д о ж д ь, —
Не оттуда ли изгнана птиц вереница,
Золотая денница, Грядущая Мошь?

Слишком долго я плакал! Как юность горька мне,
Как луна беспощадна, как солнце черно!
Пусть мой киль разобьет о подводные камни,
Захлебнуться бы, лечь на песчаное дно!

Ну, а если Европа, то пусть она будет,
Как озябшая лужа, грязна и мелка,
Пусть на корточках грустный мальчишка закрутит
Свой бумажный кораблик с крылом мотылька.

Надоела мне зыбь этой медленной влаги,
Паруса караванов, бездомные дни,
Надоели торговые чванные флаги
И на каторжных страшных понтонах — огни!

Головокружение

Что значит для нас эта скатерть в крови
И в пламени, и преисподние недра,
Свалившие прежний Порядок, и рвы,
И сотни казненных, и бешенство ветра,

И мщенье? — Ничто!.. Ну, а если хотим
Мы этого? Гибните, принцы, купцы,
История, кодексы права, дворцы!
Кровь! Кровь! Ибо голод наш не насытим.

Все силы на мщенье! Террор начался.
Свихнись, мой рассудок, от горечи злой.
Рассейтесь, дивизии и корпуса!
Республика, сгинь! Император, долой!

Кто рыжее пламя раздует в золе?
Мы, прочие люди. Мы братьями станем.
Понравилось нам заниматься восстаньем.
Не надо трудиться на грешной земле.

Европа, Америка, Азия, вы
Исчезните! Вырвалась наша орда,
Деревни займет она и города.
Вулканы молчат! Океаны мертвы!

Стучи, мое сердце! Ты встретило братьев.
Черны незнакомцы, и все же — вперед!
Но горе, — я чувствую, залихорадив, —
Земля-старушница всех заберет, —

Пускай же! Я есмь! Я останусь в живых...

Жюль Лафорг

(1860—1887)

Похоронный марш на гибель Земли (Пригласительный билет)

Величавые солнца в почетном конвое!
Воздавайте лучи золотых ваших рук,
Продолжайте рыданье свое хоровое
И, оплакав сестру свою, встаньте вокруг.

Исполнились сроки. Земля опочила.
Хрипенье предсмертное, слезы родни.
Ни вздоха, ни отзвука. Только взгляни,
Как бедным обломком играет пучина.
Что ж это, виденье? Иль явь? Сквозь года
Несется гробница трагедии славной.
Но вспомни о подвигах, бывших недавно!
Нет. Кончено. Кончено. Спи навсегда.

Величавые солнца в почетном конвое...

Но вспомни же, вспомни, как в детстве далеком
Огромные дни были скукой полны,
Да ропотом ветра, да плеском волны,
Да лиственным шумом, серебряным, легким.
Но хилых пришла бунтарей череда,
С божественной Майи срывали покровы,
И слышали звезды их голос суровый...
Все кончено. Кончено. Спи навсегда.

Величавые солнца в почетном конвое...

О, не позабудь о набатных трезвонах,
Об ужасах средневековых ночей!
Там Голод шагал среди тощих мошей,
Чума развлекалась в могилах зловонных.
Припомни, как Страшного ждали суда
Сердца, не надеясь на высшую милость,
Как ты проклинала, как тупо молилась!
Все кончено. Кончено. Спи навсегда.

Величавые солнца в почетном конвое...

О сумрак церковей! О рыдания хорала!
Сквозь стекла цветные камильницы дым,
Орган, громовая осанна над ним,
Глухой монастырь, где любовь замирала.
...Истерика жалкая. Злая нужда.
Не веря в Отца, забыв Правосудье,
Стоит одинок человек на безлюдье.
Все кончено. Кончено. Спи навсегда.

Величавые солнца в почетном конвое...

А каторг, а пуль, а костров или пыток,
Публичных домов, сумасшедших домов,
А замыслов, спрятанных в смуте умов,
А войн — удобительниц жирных избыток!
А роскошь! А скука и ложь без стыда!
А голод, и жажда, и алкоголь жгучий!
О, сколько же гибнущих в драме тягучей!
Все кончено. Кончено. Спи навсегда.

Величавые солнца в почетном конвое...

Где твой Сакья-Муни, чистейшее сердце,
Отдавшее всем существам свою кровь,
Где кротость Христова, где грусть и любовь
Распятого в оные дни страстотерпца?
Где столько отдавшие сил и труда
На знаки загадок, на стопы бумаги,
Где книги, где весело лгавшие маги?..
Все кончено. Кончено. Спи навсегда.

Величавые солнца в почетном конвое...

Все стерлось. Венера из мрамора! Песня!
Безумие Гегеля! Тщетный чертеж!
Глухих фолиантов уже не прочтешь.
Встань, башенный город, и снова исчезни!
Была ты сынами когда-то горда.
И блеск твой и грязь твоя краткими были.
Земля! Тебе снятся забытые были.
Все кончено. Кончено. Спи навсегда.

Величавые солнца в почетном конвое...

Спи крепко. Конец. Ты поверить мне можешь,
Что вся эта драма, весь этот базар —
Болезненный бред и беспамятный жар.
Точнее ты прошлого не подытожишь.
Ты грезила. Ты не была никогда.
Свидетелей нет. Не раскроются очи.
Есть время, молчанье и общество ночи.
Спи. Сон обрывается. Спи навсегда.

Величавые солнца в почетном конвое!
Воздавайте лучи золотых ваших рук,
Продолжайте рыданье свое хоровое
И, оплакав сестру свою, встаньте вокруг.

Жалоба Времени и его подруги — Пространства

Мои руки протянуты вдаль. Столько р у к , —
Но ни правой, ни левой. Пространство вокруг
В беспредельном пути наткало парусины
Для себя, для беременной звездами сини.
Так друг друга собою наполнили мы , —
Два поющих органа, две сомкнутых тьмы,
И поем каждой клеткой, молекулой каждой:
— Это я! Это я! Но смешна наша жажда,

Бесконечность не знает конца и течет
Невозбранно. Но где же размер и расчет?
Где мы? Кто мы? Зачем нас придумал Всевышний?
Что нам вечность, когда она кажется лишней?
Разрывается сердце, о грудь колотя.
Извлеки нас из нашего небытия,
Преврати нас в рыдание пляшущих молний,
Малой долей души нашу емкость наполни!

Но мы длимся, насыщены в точке любой
Только сами собой, только сами собой.
О, как «я» неделимо! О, как ты, пространство,
В белых пятнах пустынь остаешься бесстрастно!
Как оплодотворить тебя! О, как я жду
Этой спазмы занятой! Но только в бреде
Ты со мной, я с тобой. Навсегда и повсюду.
Пресыщенье и скука. Ты будешь. Я буду.

Вот откуда тоска. Вот зачем я влекусь
Испытать этих губ усладительный вкус.
Где же ты в нескончаемом нашем полете?
Где цветущее лоно живой твоей плоти?

Отвлеченность любви между нами двумя
Затесалась, как третий, томясь и томя...
(Но молчи, если ты не покажешь воочью
Где-то рядом, в открытом для глаз средоточье,
В нашем тождестве, в мысли, в ее существе
Знойный полдень, где тени сливаются две!)

Может быть, я двупольный и разве что в мифе,
Словно червь, извиваюсь к своей Суламифи?
Безначальною жалобой полон мой рот,
Я не знаю конца. Или наоборот,
Стало анахронизмом такое служенье?

О Лазурь! Продолжайся же — вся в размноженье,
Вся в струенье возможностей, вся в золотом
Опылении солнц и в пыли гекатомб,
Механизм шестерен, вихревая погоня,
Беспорядок бессмыслицы и беззаконья!
Только редкие молнии по временам
Озаряют избранных. Значит, и нам
Остается цвести, ускользая по кругу,
И любить, и служить зеркалами друг другу...

Жан Ришар Блок

(1884—1947)

Октябрь 1941 года

Встают, встают октябрьские даты,
Дни гнева, дни тревог, дни торжества.
Натянут каждый нерв и зубы сжаты,
Как в девятнадцатом стальном году.

Кинжалом врезан в горную породу,
Поставил все на карту тот Октябрь.
Он дал не только право быть народу,
Но право никогда не умирать.

Сплошная тьма над городом бессонным.
Так входит в сорок первый год октябрь, —
Как будто мир рождается сначала
И все победы надо вновь добыть.

Из мужества миллионов, из напора
Несметных воль куется этот миг,
Чтобы когда-нибудь, в иную пору,
Стать равным среди старших Октябрей.

Удар направлен в сердце огневое.
Но сердце крепче, нежели удар.
Пускай враги под самую Москву,
Но там, на Красной площади, в Москве.

Не примет Гитлер гнусного парада!
И через много лет когда-нибудь
Октябрь двадцать четвертый будет назван
Славнейшим и прекраснейшим из всех.

Так будет. Это скажут наши внуки.
Для нас же праздник — пламя и зола,
Кровь сыновей и младших братьев муки
И городских бомбоубежищ мгла.

И все-таки во глубине сознания
Упорная и жгучая живет
Сама себя кормящая надежда
На этот праздник в этот грозный год.

Враг в Новгороде, в Киеве и в Пскове,
В Париже враг и под Москвой бои.
Враг одурел от жаркой нашей крови,
Он топчет обе родины мои.

И все-таки я верю в два народа,
В народ Парижа и в народ Москвы, —
Всей ясностью, всем точным знаньем правды,
Возникшими в тревоге этих дней.

Привет тебе, Октябрь двадцать четвертый,
В час жесточайший, в трудный час земли!
Ты — родина, которой угрожают,
Ты — родина, которую спасли,

Луи Арагон

(род. в 1897)

Вальс двадцатилетних

Годен для ветра, для грязи, для тьмы.
Годен под пули. Годен для марша.
Годен легендой бродить меж людьми.
Без вести годен пропасть. И как старший,
Спляшешь ты, маленький, — только всмотрись
В ритм партитуры нечеловечьей.
Годен для страха, для раны, для крыс,
Годен, как хлеб, извергаемый печью.

Солнце, ты для обреченных горишь!
Двадцатилетними полон Париж.

Годен для крепкой сивухи с утра.
Годен в патруль под раскат канонады
Слушать сигнальных рожков тра-ра-ра,
Кончена молодость. Но, если надо,
Годен любить, умирать, забывать,
В саване сивых дождей истлевая.
Мальчик-солдат! У тебя есть кровать —
Ров трехметровый, тишь полевая.

Двадцатилетние призывники
Медленно кружатся в вальсе тоски.

Где-то пятнадцать-, шестнадцать- и сем-
надцатилетние. Кто-то мурлыкал
Песенку, осточертевшую всем
Призывникам в опьянение каникул.
Только минуту веселья найти, —
Только одну из всего мироздания.
Может быть, жизнь — это, как ни верти:
«Мама! Я скоро умру, до свиданья!»

Годен по-всякому, годен вполне,
Годен, годен быть на войне.

Так начинается вальс. И опять
Кружатся пары в безумном Париже.
Завтра не петь и с любимой не спать.
Сорок мне било. Но эти мне ближе.
Кружится в вальсе бульвар Сен-Жермен.
Крупным курсивом легло на столетье:
Годен — и баста — и без перемен.
Нет. Как они, не хочу околеть я.

Все позабыть, позабыть, позабыть.
В медленном вальсе навеки забыть
Сорокалетье столетья.

Жалобы дикой шарманки

Услыхали: «Назад!» у рогаток
И вернулись, едва рассвело.
О, как путь утомительный гадок!

И вернулись, едва рассвело.
Гнутся жены под ношей суровой,
А мужа чертыхаются зло.

Гнутся жены под ношей суровой.
Рядом с ними детишки в слезах.
Нет у них ни игрушек, ни кровя.

Рядом с ними детишки в слезах.
Непонятно им, что там такое
В беззащитных плывет небесах.

Непонятно им, что там такое:
Пушки на перекрестках с утра,
Рынок, полный золы и покоя.

Пушки на перекрестке с утра,
Да солдаты о чем-то бормочут,
Да полковник ушел со двора.

Да солдаты о чем-то бормочут:
«Сколько ран, сколько мертвых, гляди!
Мертвых в школу пустую волочат.

Сколько ран, сколько мертвых, гляди!
Что-то скажут невесты, — не знаю.
О любимая, горько в груди!»

Что-то скажут невесты, — не знаю.
Спят бойцы, фотографии сжав.
Вьется ласточек стайка сквозная.

Спят бойцы, фотографии сжав,
На носилках, под бурой рогожей.
Их зарюют в пустых блиндажах.

На носилках, под бурой рогожей,
Мертвых юношей в школу несут.
В красной марле, с обугленной кожей.

Мертвых юношей в школу несут,
Тут, видать, ничего не поможет!
Брось, сержант, — их врачи не спасут!

Тут, видать, ничего не поможет.
В Сент-Омер доберутся, а там
Кто их в госпиталь завтра положит?

В Сент-Омер доберутся, а там
Враг отрезал нас от океана,
Его танки идут по пятам.

Враг отрезал нас от океана.
Говорят, и Абвиль уже взят.
Да простится нам грех окаянный!

Говорят, и Абвиль уже взят.
Так болтают у пушек стрелки
И бедой горожанам грозят.

Так болтают у пушек стрелки.
Они сами на призрак похожи:
Поглядят — а глаза далеки.

Они сами на призрак похожи.
И, наверно, сошел он с ума,
Засмеявшийся этот прохожий.

И, наверно, сошел он с ума, —
Черный, черный, как уголь в забое,
Черный, черный, как правда сама.

Черный, черный, как уголь в забое,
Вырастает за ним великан
И кричит: «Выбирайте любое!»

Вырастает за ним великан
И кричит: «Выбирай, что подарят —
Хоть свинец, хоть шрапнельный стакан!»

И кричит: «Выбирай, что подарят!
Лучше сто раз башку оторвут
Или с воздуха бомбой ошпарят!»

Лучше сто раз башку оторвут, —
Не пойдем на чужбину с мешками!
Всех несчастнее те, что живут.

Не пойдем на чужбину с мешками.
Мы вернулись. Вернулись сюда!
С тяжким сердцем. С пустыми кишками.

Мы вернулись. Вернулись сюда
Без надежд, без оружия, без жалоб.
Мы хотели уйти, но беда:

Без надежд, без оружия, без жалоб.
Миротворцы старались и тут,
Чтоб полиция нас задержала б.

Миротворцы старались и тут
И поспали опять под бомбежку:
Мол, не бойтесь, сюда не дойдут!

И послали опять под бомбежку.
Сколько рваных воронок — сочти!
Ляжем в братские все понемножку.

Сколько рваных воронок — сочти!
Ребятишек и жен разбазарив,
Позабудь все, что любишь, в пути.

Ребятишек и жен разбазарив,
Шел святой Христофор в облаках
По следам полыхающих зарев.

Шел святой Христофор в облаках,
Шел и канул, — как будто бы не был.
Даже посох истаял в руках.

Шел и канул, как будто бы не был,
В раскаленное, гневное небо.

Рудники преисподней

Загадка тем, кто должен умереть. Египет.
Прострись во прах! Не слышит жалоб фараон.
Ужасное лицо войны. Со всех сторон,
Как пирамиды, шлак. Всю память он засыплет.

А в Монтиньи Гоэль или в Курьер ла Мор,
От Нуазель Годе вплоть до Генен Льетара
Ползет рудничный газ. Слабеет звук удара
По сердцу вдов. Обвал породы. Общий мор.

Молчит аккордеон. Шахтеры все сыграли.
Пей кофе. Водки нет. Набей хоть гневом рот.
У гнева дикий вкус обугленных пород.
У гнева оченьки твоей голодной крали.

«Прощай!» — кричат они бездомным землякам.
«Прощай!» — кричат они. И где-то в сердце ночи
«Прощай, прощай!» — платком им машет огонечек.
Продулся в пух и прах железный великан.

Здесь выросли они. Жилища опустели.
Ушла с мешком нужда. Работа не слышна.
Снов не баюкает жилая тишина.
Нельзя любить же н у, — не постланы постели.

Они уйдут. Их гонят прочь. Они уйдут.
Детишкам не велят плескаться у фонтана.
Меж тем, в леса антенн вплетаясь неустанно,
Чужие наглцы поют, и лгут, и лгут.

В харчевне танцев нет. В харчевне ничего нет.
Навеки в кожу въелся тусклый антрацит.
Привязанный ко лбу, фонарь не заблестит.
Они уйдут. Они уйдут, куда их гонят.

С проклятьем беженцы последний дом минуют.
Кто заплутался там, среди упавших звезд?
Вся жизнь разорена. Ракеты белый хвост
Еще вытягивает песенку немую.

Santa Espina

Мне помнится напев. Едва его услышат,
Сердца стучат сильней, и кровь горит огнем,
И горячей сердец огонь под пеплом пышет,
И ясно, почему синее небо в нем.

Мне помнится напев необозримой дали,
Где с криком тянутся на север журавли,
Как будто бы его пространства прорыдали
И вся морская соль пошла на шторм земли.

Как будто в черный день, насвистывая, прячет
Кольчугу рваную последний Дон Кихот,
А там, в подземной мгле, чужой ребенок плачет,
Там проклял деспота измученный народ.

Как будто тот напев еще хранит отчасти,
Хотя бы в имени, колючий терн венца,
И золотую плоть, и кровь глотка причастья,
И умерщвляемых он будит без конца.

Не подберешь слова. Любое слишком тленно.
Едва процеженный, он все слова отверг,
Чтобы и в ссадинах дряхлеющей вселенной
И после дождика не сбыться и в четверг.

Напрасно я ищу в руладах теноровых,
В рыданиях оперных тот рвущий сердце стон,
Вникаю в шепот волн, ничем не поборов их:
Все смыто в памяти, в ее краю пустом.

О Сант'Эспина, грянь, как некогда звучащий,
Чтоб стоя все бойцы прослушали тебя!

Но сколько вырубил в человечесьей чаще,
Живые голоса под корень истребя...

А все мне верится, что вновь тебя затынет
Таинственная глубь поверженной страны,
Заговорит немой, и параличный встанет
И двинется в поход под звон твоей струны.

И вновь, не дорожа отречьем атрибута,
Сын человеческий уронит терн венца
И громко запоет на этот раз, как будто
Боярышник в цвету и радость без конца.

Радио — Москва

Слушай, Франция! В недрах весеннего леса
Чья там песня вплетается в шелест ветвей,
Чья любовь совершенно подобна твоей?
Слушай, слушай! Откройся доверчиво ей.
Слушай, Франция! Есть на земле Марсельеза!

О далекая, как она нас отыскала?
Еле слышимый еле забрезжил мотив.
Так Роланд погибает, за нас отомстив.
Мавры мечутся. Но, Ронсеваль захватив,
Он швыряет вдогонку им горные скалы.

Бьется сердце. С биеньем его совпадая,
Откликается полная слез старина.
Жанна д'Арк сновиденьями потрясена.
А в глазах у нее вся родная страна —
Вся седая история, вся молодая.

Чей язык это? Кто его переиначит?
Не по школе я знаю грамматику ту.
Так стучит барабан на Аркольском мосту.
Так Бара и Клебер иступленно кричат в темноту.
«Боевая тревога!» — вот что это значит!

Слушай, Франция! Ты не одна. Так запомни:
Не безвыходно горе, ненадолго ночь.
Просыпайся, крестьянская мать или дочь!
Выйди засветло, чтоб партизанам помочь!
Спрячь их на сеновале иль в каменоломне!

До расчета Вальми остаются часы.
Просыпайся, кто спит! Не сгибайся, кто тужит!
Пусть нас горе не гложет, веселье не кружит.
Пусть примером нам русское мужество служит.
Слушай, Франция! На зиму нож припаси!

Прелюдия

Человек? Человека сломили,
Сбили с ног, в порошок истолкли.
Чтоб не помнил французской земли,
Как скотину, тавром заклеямили
И на бойню гуртом повели.

Где любовь? Что с любимой случилось
После стольких и стольких разлук,
После стольких несчитанных мук?
Вновь она, несмотря на усталость,
Из предательских вырвалась рук.

Черных трапез дымится гангрена.
Вьется стая голодных ворон.
Тихо шляпу снимает шпион.
Шире крут! Очищайся, арена!
Новой кровью Париж обагрен.

Розы ран запылали навеки.
Жалость к павшим горька навсегда.
Обложила все двери орда.
Зорче взгляд. Шире жадные веки.
Но когда же, французы, когда?

На востоке означилась ясно
Тень победы из волжской пурги,
Тень победы — и дальше ни зги.
Но бояться зари этой красной,
Сбиты с толку, теснятся враги.

Все смертельней для них с каждой ночью
Пуля меткая в каждом окне,
Грохот взрыва в любой тишине.
Так пускай же, разорваны в клочья,
Они мечутся в нашей стране!

В наших спальнях пускай им не спится,
Не живется в безлюдном дому.
Пусть глядит чужестранец во тьму.
Мы заставим убраться убийцу,
А предателя — жаться к нему!

Слишком долго прождали мы молча.
Об опасностях кончена речь.
Небо в зареве. Что нам беречь?

Так сотрите же след этот волчий
С ваших комнат, и улиц, и встреч.

Вас зовут ваши братья из тюрем!
Встаньте, вольные наши стрелки,
Батальонами стройтесь, полки,
И промчитесь, подобные бурям,
Так же неистребимо легки!

Грозным негодованьем пылая,
Очистительным ветром дыша,
Все размалывая и круша,
Встань, народная сила былая,
Пой, народная наша душа!

Где оружие? Найдем его сами.
У врага заберем ни за грош.
К черту, рабская вялая дрожь!
Хлеб достаточно смочен слезами.
Каждый день для восстанья хорош.

Песня вольного стрелка

Им мало, Франция, тебя
Сдать на постой солдатам грязным,
Твоим вином поить их красным,
Бойцов достойных истребя.

Тебя гноят в концлагерях
Под маской вежливости липкой
И дальше продают с улыбкой
Дельцам зловещих передряг.

Потом, угодливо склонясь,
Тобой клянутся шутки ради.
Но ты и в шутовском наряде
Все та же Франция для нас.

Что снится, мать, тебе? Скажи!
Что взоры глаз твоих усталых
Там, в средиземноморских скалах,
Увидели сквозь рубежи?

«Мне снится, — говорит она, —
Побед минувших вереница.
Пустыня Африки мне снится
И благодатная весна...

Когда ж воротятся ко мне
В бурнусах красных бедуины?..»
Не жди их! Мы с тобой едины —
Здесь, в нашей собственной стране.

Твои сыны обручены
Лишь со свободою мятежной
И справят свадьбу неизбежно, —
Недаром ружья им верны.

Мое ружье в шкафу пока,
Но и оно стреляет метко,
Как аркебуз в руках у предка,
И помнит славу старика.

И мы, как прадеды, просты.
Так пожелай же нам успеха!
Где я стреляю, — мчится эхо.
Где гибну, — там воскреснешь ты.

Французский марш

Пришли предательские дни
Дневной грызни, ночной резни.

Когда вода мутнеет мрачно
И только влага слез прозрачна.

И сволочь столько налгала,
И только мгла кругом легла.

И тень орды зеленолицей
Нам застит небо над столицей.

Они сказали: «Голодай!
Хлеб нам отдай, а кость глодай!»

Они сказали: «Книги бросьте!
Послушен пес хозяйской трости».

Сказали: «Не вставать с колен!
Кто посильней, ступайте в плен!»

И заперли одних в бараки,
Других оставили во мраке.

Но не попались Пьер и Жан
И сотни юных парижан.

И кто не пойман и не забран,
На жизнь и смерть решились храбро.

Как ветер, веющий в кудрях,
Как пламя в синих фонарях.

Не ради приключений пошлых,
Не ради памятников прошлых,

Но ради родины самой
Деремся мы с немецкой тьмой.

Гнать в шею, гнать без разговора
Шпиона, хищника и вора!

Зерно очистить от зерна,
Чтобы очистилась страна.

С любой гряды и огорода
Полоть проклятую породу.

Все погребя и все сады
Отнять у вражеской орды,

Холмы, долины, и жилища,
И кладбища, и пепелища,

Рыбешку мелкую в прудах,
Орехи в рощах и в садах,

Вершины гор, глубины моря,
Где столько крови, столько горя,

И небо, чей благой покров
Без немецвясен и багров, —

Все, что мы чтим под небесами,
Должны освободить мы сами.

Легенда о Габриэле Пери

На старом кладбище в Иври,
В могиле братской, безымянной,
В ночи безлунной и туманной
Остался Габриэль Пери.

Но, видно, мученик тревожит
И под землей своих убийц.
Там, где народ простерся ниц,
Любое чудо сбыться может.

Спокойны немцы за Иври:
Там трупы свалены на трупах,
Там в тесноте, в объятьях грубых
Задушен Габриэль Пери.

Но палачам не спится что-то!
Недаром злая солдатня,
Французов с кладбища тесня,
К ограде нагнана без счета.

И вот на кладбище в Иври
Никто венка принести не вправе.
Один убийца топчет гравий,
Напуган призраком Пери.

Но обвиненьем служит чудо:
Прах и в земле не одинок.
Гортензий голубой веночек
Расцвел над ним, бог весть откуда.

Пускай на кладбище в Иври
Забиты наглухо ворота.

Но в час ночной приносит кто-то
Цветы на бедный прах Пери.

Их столько раз сюда носили!
Осколок неба иль слеза,
Легенды синие глаза
Глядят на черное насилье.

И вот на кладбище в Иври
Тяжелые венки печали
Легчайшим звоном прозвучали,
Чтобы порадовать Пери.

В тех лепестках синее лоно
Родимых средиземных волн,
Когда он, молодости полн,
Бродил по гавани Тулона.

И дышит кладбище в Иври
Влюбляющим благоуханьем,
Как будто только что с дыханьем
Простился Габриэль Пери.

Да! Мертвецы такого рода
Тиранам смерть сулят давно.
Их гибель — грозное вино
Для разъяренного народа.

Пушкой на кладбище Иври
Толпаредет, гул слабеет, —
Но ветер веет, пламя рдеет
Во имя нашего Пери!

Стрелки! Вы помните, когда
Он пел нам песню в час рассвета?

Он здесь давно истлел, но где-то
Еще горит его звезда.

На старом кладбище Иври
Еще поет, еще поет он.
День разгорается. Встает он, —
Все тот же Габриэль Пери.

День — это жертвенная смена
Тех, кто в земле, и тех, кто жив.
Сегодня честно отслужив,
День завтра вспыхнет непременно.

На старом кладбище Иври,
В бездушной мгле, в могиле узкой,
Все кровью жаркою французской
Нам верен Габриэль Пери.

Баллада о том, как поют под пыткой

«Нет, колебание бесполезно.
Все ясно для меня.
Я говорю из тьмы железной
Для завтрашнего дня».

В одной из черных одиночек
Шел разговор всю ночь:
«Согласен, — шепчет переводчик, —
Нам кое в чем помочь?»

Жить, как мы все. Пусть на коленях.
Но жить. Согласен жить?

Шепни нам только слово, пленник,
Чтоб волю заслужить.

Шепни хоть на у х о , — и тотчас
Дверь настезь из тюрьмы.
Взвесь и прикинь, сосредоточась:
Не так уж скупы мы.

Смахнуть с земли тебя легко мне.
Легка любая ложь.
Но, вспомни, вспомни, только вспомни,
Как белый день хорош».

И тот ответил: «Бесполезно.
Все ясно для меня», —
Так он сказал из тьмы железной
Для завтрашнего дня.

И довод прозвучал последний:
«Как люди ни чисты,
Но платят за Париж обедней, —
Плати за жизнь и ты».

Шпион ушел с достойным видом,
Скрывая торжество.
И шепчет узник: «Нет, не выдам,
Не выдам никого.

Пусть гибну. Франции известен
Мой лозунг боевой.
За столько слов ее и песен
Плачу я головой».

Опять вошли, ведут под стражей
На немощный двор.

И рядом вьется скользкий, вражий,
Немецкий разговор.

Но что ни скажут — бесполезно.
Молчал он, честь храня,
Под пулями, во мгле железной
Для завтрашнего дня.

Под пулями успел он фразу
Пропеть: «К оружию, гражд...» —
И грянул залп. И рухнул сразу
Товарищ славный наш.

Но Марсельеза стала скоро
Той песнею другой,
Той самой лучшею, с которой
Воспрянет род людской.

Париж

Где шире дышишь ветром непогоды,
Где зорче видишь в самом сердце тьмы,
Где мужество — как алкоголь свободы,
Где песня — разбомбленных стен углы,
Надежда — горсть нестынувшей золы?

Не гаснет жар в твоей печи огромной.
Твой огонек всегда курчав и рыж.
От Пер-Лашез до колыбели скромной
Ты розами осенними горишь.
На всех дорогах — кровь твоя, Париж.

Что в мире чище твоего восстанья?
Что в мире крепче стен твоих в дыму?
Чьей легендарной молнии блистанье
Способно озарить такую тьму?
Чей жар под стать Парижу моему?

Смеюсь и плачу. О, как сердце бьется,
Когда народ, во все рога трубя,
На площадях твоих с врагами бьется!
Велик и грозен, мертвых погребя,
Париж, освободивший сам себя!

Поль Элюар

(1895—1952)

Свобода

На школьных своих тетрадках
И на древесной коре,
На зыбких холмах песчаных
Я имя твое пишу.

На всех страницах прочтенных,
На всех страницах пустых,
На крови, камне и пепле
Я имя твое пишу.

На золоченых картинах,
На королевских венцах,
На воинском вооруженье
Я имя твое пишу.

На пустырях и в дебрях,
На птичьих гнездах в кустах,
На всех отголосках детства
Я имя твое пишу.

На очарованьях ночи,
На белом хлебе дневном,
На первых днях обрученья
Я имя твое пишу.

На всех осколках лазури,
На глади лунных озер,
На солнечных водоемах
Я имя твое пишу.

На беспредельных равнинах,
На крыльях летящих птиц,
На мельничных сонных крыльях
Я имя твое пишу.

На каждом луче рассветном,
На море, на кораблях,
На горных безумных высях
Я имя твое пишу.

На облачных испареньях,
На струях косых дождей,
На ураганных ливнях
Я имя твое пишу.

На всех мерцающих формах,
На бубенцах цветов,
На явно видимой правде
Я имя твое пишу.

На торной прямой дороге,
На опустевшей тропе,
На площади многолюдной
Я имя твое пишу.

На лампе, в ночи зажженной,
На лампе, погасшей к утру,
На всех домах, где бы ни жил,
Я имя твое пишу.

На зеркале, отразившем
Пустое мое жилье,
На теплой пустой постели
Я имя твое пишу.

На шерстке доброй собаки,
На острых ее ушах,
На лапах ее неуклюжих
Я имя твое пишу.

На каждой близкой мне плоти,
На лбу любимых друзей,
На каждой раскрытой ладони
Я имя твое пишу.

На окнах, раскрытых настежь,
На полуоткрытых губах,
Внимательно молчаливых,
Я имя твое пишу.

На брошенных укреплениях,
На сломанных фонарях,
На стенах тоски вседневной
Я имя твое пишу.

На гибели без возврата,
На голом сиротстве своем,
На шествиях погребальных
Я имя твое пишу.

На возвращенном здоровье,
На дерзости, что прошла.
На безрассудных надеждах
Я имя твое пишу.

Могуществом этого слова
Я возвращаюсь к жизни,
Рожденный дружить с тобою,
Рожденный тебя назвать —
Свобода!

Зубы сжаты

Не спрашивай, кого я ненавижу.
Есть область, где мужчины онемели.
Есть небо в рыхлых тучах. Есть презренье
Со стороны погибших. Есть слова
Присяги ложной, лепета глухого.
Есть лесь растленная и тихий голос,
Смиреньем опозоренный.

Но есть

Огонь кровавый, жажда быть свободным,
Милльон людей со сжатыми зубами,
Кровь, что по капле медленно сочится.
Есть ненависть — и, значит, есть надежда.

Праздность

Раз мертвые сюда не возвратятся —
Что делать нам, что предпринять живым?
Раз мертвые не жалуется даже —
Что жаловаться попусту живым?

Но если мертвые молчать не в силах —
Живым молчанье незачем хранить.

Невозможное желание

Я видел этот мир бесчеловечный,
Венец и рабство под проклятым игом.
Я знаю драму, с автором знаком.

Ночь-заговорщица шла впереди меня.
Спесь и убожество ползли по тротуарам,
Вели меня к истокам преступленья.

Я видел борозды, что проводило
На лицах раскаленное железо.
Я видел слабых, сбитых кулаком.

Кровь на животных, кровь на людях видел —
Сбор винограда гаже и подлей,
Чем палачи изящные в перчатках.

Но я меж пыток выбираю скуку
И одиночество в траве осенней.
Я не сообщник даже побежденным.

Я не войду и с палачами в сделку,
Останусь совершенно одинок на свете.
Ни жизнь, ни смерть моя не будут униженьем.

Я лгу. На мне вина. Я чей-то брат и должен
Все испытать. Я понял, что солгал.
Товарищи, я ваш. Я протянул вам руки.

Афина

Народ Эллады, горестный владыка,
Все потерявший, только не свободу,
Не жажду справедливости и воли,
Не уважение к самому себе.

Тебе уничтожение не грозит.
Под стать своей любви ты сердцем чист.
Душой и телом вечности взыскуя,
Уверен ты, что хлеб получишь даром.

Что хлеб тебе дадут охотно руки,
И честь спасут, и утвердят закон.
Верь только в них, в свои большие руки.
В них милосердьё, в них твоя надежда.

Надежда — вопреки господству тьмы
И смерти, отступающей внезапно.
Народ в отчаянье, народ героев
Голодных, но объевшихся отчизной.

Велик иль мал, об этом знает время.
Народ — хозяин всех своих желаний,
Плоть, совершенство плотского объятья.
Живая жажда хлеба и свободы.

Свобода — как морская гладь под солнцем.
И хлеб — как боги, хлеб-соединитель.
Сверкающий, он стал сильнее всех.
Сильней, чем наше горе, чем враги.

Стихотворение об очевидном

Я существую в бесчисленных образах времени,
Дней и годов.
Я существую в бесчисленных образах жизни,
В кружеве
Цвета, и формы, и слов, и движенья,
В красоте неожиданной,
В безобразье всеобщем,
В ясности, в мысли горячей, в желаньях.
Я существую в несчастьях и снова
Жизнью своей возражаю на смерть.

Я существую в реке, беспредельно пылающей,
В темной и влажной
Реке немигающих глаз,
И в удушливых дебрях, и в блаженных долинах,
Вливаюсь в моря, что повенчаны с небом пустым,
Существую в пустыне среди каменных статуй,
В одиночестве гибнущего человека,
В многих братьях, опять обретенных.
Я живу в изобилье и в голоде сразу,
В замешательстве света, в порядке ночном.
Я в ответе за жизнь, за любое сегодня
И завтра, —
Всем пределом и всей протяженностью мира,
Всем огнем и всем дымом,
Всем рассудком своим и безумьем, —
Вопреки этой смерти, вопреки всей земле,
не такой уж реальной,
Как реальны несчетные образы смерти.
Я живу на земле. Все земное со мной.

Пляшут звезды в глазах у меня. Я рождаю
все тайны,
Сколько может земля сотворить.
Ни надежде, ни памяти тайна пределом
не служит,
А сегодня — основа для завтра.

Песня последнего промедления

Черно мое имя в миг пробужденья.
Черна назойливая обезьяна,
Которая корчит маньяка
Пред зеркалом ночи моей.
Черно тяжелое безрассудство,
Холодный, дряблый двойник.

Черно, где вонзилась стрела.
Черно, где затлел уголек.
Черно сожженное тело.
Обуглено сердце любви.
Черна поседевшая ярость
И пена на подлых губах.

Тупая жажда вопить
Останется вплоть до смерти.
Пускай могилу мою
Оплачут мои знакомцы.
Они любовь одобряли,
Они и траур почтут.

Из наших скрещенных рук
Я строил наши объятия.
Из наших пристальных глаз
Я строил единство зренья.
Сегодня кости мои
Размолоты мертвым прошлым.

В исчезающем этом мире
Не осталось нашего смеха,
Ни ночей наших, ни видений.
Испарилась живая влага.
Только мы вдвоем умещались
В этой раковине пустой.

Отделись от моей печали.
Пусть она рассыплется прахом —
И отвергнет любые жертвы.
Смерть не знает, что значит доблесть.
Отделись, если ты решаешь
Вечно жить и не умирать.

На твоих ресницах сухих,
В глубине твоего желанья
Округляется черный ноль.
Как он крохотен, как огромен,
Как способен он защитить
Самобытное в человеке!

Только я и черен — пойми!

Сегодня

Не часто в булочной бывает белый хлеб,
На улице не часто светит солнце,
Не часто в крохотных бистро
Для пьяниц приготовлена закуска,
У них гнилые зубы
И, несмотря на заработок, скверные повадки.

Вот улица: на вывесках нет золота,
в кафе не топят,
Все лица замкнуты, все губы горько сжаты.
Три путника торопятся домой.
Я знаю их трущобу,
Бывал внутри, во мраке!
Да, очень худо нам живется.

Всем жителям здесь солоно живется.
В их край и не заглядывает солнце.
Они — как вены на большой руке,
Пьют и едят, слоняются без толку,
Все закоптели, всем темно и скучно.

Ничто — вот образ улицы в ненастье.
Случается, что грузовик раздавит
Ребенка или велосипедиста:
Все суетятся. Кровь на мостовой.
Еще трепещет чья-то жизнь в грязи,
Старается подняться и сникает.

Я не рискую говорить о солнце.
Но знаю — электричество и газ,
Водопровод и сытная еда
Служили бы в рассказе с большим блеском.

О гастрономии и о загаре
Я и не заикаюсь.

Как и о том, что где-то славят бога
Или друг друга любят нагишом.
Но где же та стена благополучья?
Мы сами опрокинули ее,
Едва вступили в невозможный мир,
Едва чужой улыбке улыбнулись.

Усталость наша не синей, чем небо.
Мы просим милостыни в мае
У ландышей и белых лилий.
Меж тем еще синее нас — жена.
Она так страстно, так заботливо любила,
Как это полагается в любви.

У чистых родников, вблизи от моря,
Я знаю, мы не все могли понять,
Но больше не хотим продрогнуть
Ни до костей, ни до безумья.
Все вечно. Все мгновенно. Но мы будем
Тверды перед лицом беды,
Горды перед бессудьем.

Мы выкорчем улицу отсюда
И отнесем ненужную — пусть гибнет
Развалина в святилище хозяев.

В Варшаве, городе фантастическом

Кто не видал немых развалин Гетто,
Не понимает собственной судьбы,
Не понимает пустоты на месте
Живого сердца и живого тела.

Кто их видал, тому легко понять,
Что сделанного здесь — не переделать.
Все надо изменить, иначе смерть —
Не подвиг, не победа, а ничто.

Кичилось это чудище, вставая
Из бьющегося сердца человека,
Который был закован и разбит,
Чья мысль мертва, чей зоркий взгляд ослеп.

Погибло Гетто. Призраки не встанут.
Но множество их создано любовью
Ко всем живущим. Будущее с ними.
Их корни живы, их стволы растут.

Вот образ непомерного страданья
Под сумрачными тучами Варшавы.
Он разрушает все мечты о счастье,
Но воздвигает радугу надежды.

Мертвец в земле расчистил путь живым.

О Первом мая первого мая

Как будто мы листва одной дубравы,
Всех разметал удушливый тот вихрь.
Беда — как ночь. Война — как наводнение.
Нет зеркала — один слепой свинец.

Но не вчера — сейчас они посмели
Предречь уничтоженья нам, живым,
Нам, воскресавшим с каждою весной,
Из будущего черпающим свет.

Над ними небо дряблое нависло.
А наша мощь отныне и навек
Едина, первозданна, человечна.
Одно лишь счастье тяготит ее.

Одно цветенье легкое и зрелость.

Тени

*Бастующим,
горнякам*

Не тени по земле кружатся,
Не дочери дневного солнца,
Плясуньи отдыха и света,
Подруженьки живых существ.
Не тени на земле полночной,
Предшествующие заре,
В легчайшем блеске лунной влаги
Покорно служат всем, кто спит.
Нет, под землей они столпились.

Тревожно бьются их сердца, —
Добытки тепла и тока,
Бастующие горняки.

Сгустилась их обида
В глухую глыбу мглы,
В раскат негодованья
И в ярости раскат.
Трудиться без надежды?
Рыть для себя могилу?
Те, что зажечь могли бы
Глаза миллионам ближних,
Они сказали «нет»
Нетлению и праху.
Они хотят дарить.
Дарить? Но кто возьмет?
Сердцам их нет границ.
Но есть предел терпенью.
Довольно голодать,
Когда другие сыты.
Другие лгут, что, дескать,
Отыдешь в землю с миром.

Так, братья горняки, я с вами говорю,
Мои стихи ничто без вашей правоты,
А если человек до срока должен гибнуть,
Пусть первыми умрут среди людей
поэты!

Добрая справедливость

Есть горячий закон у людей:
Из лозы виноградной делать вино,
Из угля делать огонь,
Из объятий делать людей.

Есть суровый закон у людей:
Уберечь свою суть, несмотря
На войну и на горе.
Несмотря на грозящую гибель.

Есть спокойный закон у людей,
Превращающий воду в свет,
Сновиденье — в реальность,
А врагов своих — в братьев.

Это древний закон и новый.
Он растет, совершенствуясь,
От самого сердца ребенка
Вплоть до высшего разума.

Товарищам наборщикам

Мы одним владели ремеслом,
Помогали видеть в темноте,
Понимать и действовать учили,
Исчезать и снова появляться.

В это верить надо было — верить
В мудрую способность человека
Быть свободным, становиться лучше,
Нежели судьба его сложилась.

Ибо ждали мы большой весны,
Ибо ждали совершенства в жизни,
Ждали, что непобедимый свет
Выдержит все тяжести вселенной.

Мы двое

Мы двое крепко за руки взялись.
Нам кажется, что мы повсюду дома —
Под тихим деревом, под черным небом,
Под каждой крышей, где горит очаг,
На улице, безлюдной в жаркий полдень,
В рассеянных глазах людской толпы,
Бок о бок с мудрецами и глупцами —
Таинственного нет у нас в любви.
Мы очевидны сами по себе,
Источник веры для других влюбленных.

Все сказать

Все — это все сказать. И мне не хватит слов,
Не хватит времени и дерзости не хватит.
Я брежу, наугад перебирая память,
Я нищ и неучен, чтоб ясно говорить.

Все рассказать — скалу, дорогу, мостовую,
Прохожих, улицу, поля и пастухов,
Зеленый пух весны и ржавчину зимы,
И холод и жару, их совокупный труд.

Я покажу толпу и в каждом первом встречном
Его отчаянье, его одушевление,
И в каждом возрасте мужского поколения
Его надежду, кровь, историю и горе.

Я покажу толпу в раздоре исполинском,
Всю разгороженную, как могилы кладбищ,
Но ставшую сильнее своей нечистой тени,
Разбившую тюрьму, свалившую господ,

Семью рабочих рук, семью листвы зеленой,
Безликого скота, бредущего к скоту,
И реку, и росу в их плодотворной силе,
И правду начеку, и счастье в цвету.

Смогу ли я судить о счастье ребенка
По кукле, мячику и солнышку над ним?
Посмею ли сказать о счастье мужчины,
Узнав его жену и крохотных детей?

Смогу ли объяснить любовь, ее причины,
Трагедию свинца, комедию соломы
Сквозь машинальный ход ее вседневных дел,
Сквозь вечный жар ее неугасимых ласк?

Смогу ли я связать в единство эту жатву
И жирный чернозем — добро и красоту,
И приравнять нужду к желаниям моим,
Сцепленье шестерен — к тому, чем я томим?

Найду ли столько слов, чтоб ненависть прикончить,
Чтоб стихла ненависть в широких крыльях гнева,
Чтоб жертва поднялась на палачей своих?
Для революции найду ли я слова?

Есть золото зари в глазах, открытых смело, —
Все любо-дорого для них, все новизна.
Мельчайшие слова пословицами стали,
Превыше бед и мук простое пониманье.

Смогу ли возразить, — достаточно ли твердо, —
Всем одиночествам, всем маниям нелепым?
Я чуть что не погиб, не смогши защищаться,
Как связанный боец с забитым кляпом ртом.

Я чуть не растворил себя, свой ум и сердце
В бесформенной игре, во всех летучих формах,
Что облекали гниль, распад и унижение,
Притворство и войну, позор и равнодушие.

Еще немного — и меня б изгнали братья.
На веру я примкнул к их боевым делам.
От настоящего я больше взял, чем можно,
И лишь о будущем подумать не умел.

Обязан я своим существованьем людям,
Живущим вопреки всеобщему концу.
Я у восставших взял и взвесил их оружие,
И взвесил их сердца, и руки им пожал.

Так человеческим стал нехитрый человек.
Песнь говорит о том, что на устах у всех,
Кто за грядущее идет войной на смерть,
На подземельный мрак беспутной мелюзги.

Скажу ли, наконец, что в погребе прокисшем,
Где бочки спрятаны, открыта настезь дверь,
Нацежен летний зной в сон виноградных л о з , —
Я виноградаря слова употребляю.

Похожи женщины на воду иль на камень,
Суровы иль нежны, легки иль недотроги.
Вот птицы странствуют наперерез пространству.
Домашний пес урчит, тревожится за кость.

Ночь откликается лишь чудачу седому,
Истратившему жар в банальных перепевах.
Нет, даже эта ночь не сгинет понапрасну.
Сон для меня придет, когда других оставит.

Скажу ли, что над всем владычествует юность,
Морщины на лице усталом замечая?
Над всем владычествует отсветов поток, —
Лишь только вытянется из зерна цветок.

Лишь только искренность живая возникает —
Доверчивый не ждет доверья от других.
Пусть ответят мне до всякого вопроса,
Пусть не говорят на языке чужом.

Никто не посягнет дырывать мирный кров,
Жечь эти города и мертвых громоздить.
Я знаю все слова строителей вселенной,
А время для таких — живой первоисточник.

Потребуется смех, но это смех здоровья.
То будет братское веселье навсегда.
То будет доброта такая же простая,
Как к самому себе, когда ты стал любим.

Легчайшим трепетом ответит зыбь морская,
Когда веселье жить свежей соленых волн.
Не сомневайтесь же в стихотворенье этом.
Я написал его, чтоб вычеркнуть вчера.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Н. Любимов. Любимец десятой музы</i>	5
Пьер-Жан Беранже	
Жан-парижанин	11
Моя масленица в 1829 году	14
Четырнадцатое июля	16
Июльские могилы	18
Красный человечек	21
Огюст Барбье	
Раздел добычи	24
Известность	28
Идол	29
Бедлам	32
Джин	35
Виктор Гюго	
История	38
Скупая, чахлая, иссохшая земля...	39
Что я видел в тот весенний день	40
Статуя	42
Надпись на экземпляре «Божественной комедии»	43
Простерта Франция немая...	44
Искусство и народ	45
Он засмеялся!	47

Веселая жизнь	48
Черный стрелок	53
Песня	55
Роза инфанты	57
За баррикадами, на улице пустой...	65

Шарль Бодлер

Всю вселенную ты в своей спальне вместила...	67
Танец змеи	67
Кот	69
Непоправимое	70
Часы	72
Рыжей нищенке	73
Семь стариков	75
Старушонки	77
К прошедшей мимо	81
Скелет-землероб	81
Вечерние сумерки	83
Игра	84
Пляска смерти	85
Парижский бред	87
Полночь допрашивает	90
Жалобы Икара	91

Артюр Рембо

Бал повешенных	92
Моя цыганщина	94
Кузнец	94
Вы, храбрые бойцы...	100
Зло	101
Ярость кесаря	102
Блестящая победа в Саарбрюккене...	102
Спящий в ложбине	103
Воронье	104

Военная песня парижан	105
Париж заселяется вновь	106
Рука Жан-Мари	109
Пьяный корабль	111
Головокружение	115
Жюль Лафорг	
Похоронный марш на гибель Земли	117
Жалоба Времени и его подруги — Пространства . . .	120
Жан Ришар Блок	
Октябрь 1941 года	122
Луи Арагон	
Вальс двадцатилетних	124
Жалобы дикой шарманки	125
Рудники преисподней	129
Santa Espina	131
Радио — Москва	132
Прелюдия	133
Песня вольного стрелка	135
Французский марш	137
Легенда о Габриэле Пери	139
Баллада о том, как поют под пыткой	141
Париж	143
Поль Элюар	
Свобода	145
Зубы сжаты	148
Праздность	148
Невозможное желание	149
Афина	150
Стихотворение об очевидном	151
Песня последнего промедления	152

Сегодня	154
В Варшаве, городе фантастическом	156
О Первом мая первого мая	157
Тени	157
Добрая справедливость	159
Товарищам наборщикам	159
Мы двое	160
Все сказать	160